

# АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

## ЧУДАКИ



Литрес

# Алексей Николаевич Толстой

## Чудаки

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=5317743](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5317743)*

*ISBN 978-5-4467-0504-7*

### Аннотация

Один из самых ранних романов известного русского писателя Алексея Николаевича Толстого.

# Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	4
ГЛАВА ВТОРАЯ	15
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	26
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	38
ГЛАВА ПЯТАЯ	50
ГЛАВА ШЕСТАЯ	63
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	74
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	85
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ	97
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ	113
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ	131
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ	141
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ	150
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ	160
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ	173
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ	185
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ	199

# А. Н. Толстой

## ЧУДАКИ

*И тщетно там пришлец унылый  
Искал бы гетманской могилы:  
Забьт Мазепа с давних пор.  
(«Полтава». Пушкин)*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мягко зашумевшие листья осин, возня воробьев под окном и свежий ветер, залетевший в комнату, разбудили Степаниду Ивановну. Она повернулась на бок и сейчас вспомнила не только вчерашнюю ссору, но и последние слова мужа, Алексея Алексеевича: «Старуха, старая старуха».

Гневно сдвинула Степанида Ивановна подведенные с вечера узкие брови и в досаде сбила все простыни из тончайшего холста.

Шелк Степанида Ивановна не употребляла на простыни и рубашки, полагая, что электричество, находящееся в телах спящих супругов, разъединяется от шелковой ткани, и слабеет любовное влечение, о котором, несмотря на свои шестьдесят лет, заботилась Степанида Ивановна, пожалуй, даже сильнее, чем в дни молодости.

Глядя в окно на мокрую зелень ветвей, думала она о же-

стоких мужниных словах, сказанных с хлопаньем дверьми, когда, противно всем долголетним привычкам, ушел Алексей Алексеевич спать один в кабинет.

– Не смей меня ревновать! – крикнул тогда он, топорща усы и багровея. – Гадко и гнусно. Э, да что с тобой говорить! – Отшвырнул ногою стул и распахнул дверь. – Пойми, что ты старуха, старая старуха...

«О жене вспомнил, о покойнице, – думала Степанида Ивановна. – И Софью любит потому, что с ней сходство».

Она быстро повернулась на другой бок, откинула на ногах одеяло. Свежесть утра ознобила тело.

– Нет, Алексей, – воскликнула она, – одна я для тебя, не смеешь ни о ком думать... Ах, Боже мой!

Склонясь к подушке, Степанида Ивановна замерла в отчаянии. Но сухи были ее глаза и сердце ожесточенно.

Тридцать четыре года прожила Степанида Ивановна с мужем своим, теперь генералом в отставке, раньше красавцем военным, любимцем начальников, сотоварищей и женщин, проигравшим в карты три имения, знаменитым своими любовными и нелюбовными похождениями и в особенности женитьбой на Степаниде Ивановне.

Тогда она – девица на выданье – жила в уездном городе с отцом, помещиком, которого съел банк. Городишко был небольшой, пустынный, пыльный: дрянные деревянные домишки, выгоравшие время от времени целыми кварталами,

собаки, сопливые мальчишки, чахлые палисадники, мухи – вот и весь город.

Мух же особенно было много. Отец Степаниды Ивановны – Иван Африканович – охотился на них, надевая даже очки, чтобы лучше прицеливаться. Салфеткой ударял по стене, убивал их сотнями и отдавал цыплятам.

Степанида Ивановна, девица на выданье, целыми днями сидела у окна и поглядывала на пыльную улицу. От мокрого удара салфеткой вздрагивала она каждый раз и, сжав маленькие губы, рассматривала, как напротив у забора стоит ободранный пес, жмурясь от солнца, или по жаре бредет акцизный чиновник, ковыряя на щеке прыщ.

– Замуж хочу! – говорила Степанида Ивановна сначала тихо, потом все громче и злее и, когда Иван Африканович входил в комнату, держа в одной руке салфетку, в другой банку с набитыми мухами, кричала ему в улыбающееся лицо: – Выдай меня замуж, старый мухобой, выдай меня замуж! Хуже будет!

Худенькое ее тело выпрямлялось, глаза становились сухи и огромны. От тяжести черных волос, подрезанных на лбу челкой, болел затылок.

Однажды, услышав звон бубенцов, Степанида Ивановна выглянула в окно и увидела тройку серых лошадей, мчавшую блестящую коляску; в ней сидел молодой офицер в гвардейской фуражке набекрень.

Офицер обернул к изумленной девушке краснощекое уса-

тое лицо, послал воздушный поцелуй, и тройка свернула за угол, где стоял дом уездного предводителя.

Степанида Ивановна побледнела, схватилась за грудь и едва не лишилась чувств – так пронзило ее предчувствие.

На следующий день предводитель устроил бал в честь приезжего офицера – племянника своего, молодого вдовца Алексея Алексеевича Брагина. Степанида Ивановна надела единственное свое нарядное платье из голубой кисеи и весь вечер следила из-за веера за Алексеем Алексеевичем, лихо отбивавшим мазурку в красных с золотыми шнурами чик-чирах.

Алексей Алексеевич тоже, видимо, заметил красоту Степаниды Ивановны – и оглядывался на девушку неоднократно. Под конец бала сел рядом с ней на диванчик, вынул тонкий платок, отер прекрасный лоб свой.

Степанида Ивановна опустила было глаза, но офицер взглянул на нее так открыто, простодушно и весело, что не могло быть сомнений – его нужно полюбить как можно скорее, не теряя времени, не думая.

За стеной маленькой гостиной, где они сидели, слышались музыка, шелест и шорох платьев... И Степанида Ивановна никогда не могла вспомнить, что ей говорил тогда красавец офицер, что она отвечала... Выпуклые серые глаза его глядели и дерзко и нежно.

От мужского здорового запаха раздулись у нее ноздри, медленно клонясь, подставила она Алексею Алексеевичу

пунцовые губы, – лишь ахнула негромко.

Хотя в двери гостиной не заглядывал ни один нос, все же минут через пять все узнали с большими подробностями, что Степанида Ивановна «целовалась».

Предводительша, желая рассеять сомнительное впечатление, велела играть русскую и сама пошла плясать с платочком, причем полная ее грудь так подпрыгивала, что пришлось ее поддерживать сверху рукой. Предводитель, щелкнув тузом козырного короля у помещика Тараканова, крикнул и сказал: «Эге, племянник не дает маху!» Иван же Африканович, папенька, стоя в закуской около спиртного, только сморкался трубой и жалобно посматривал на двух клюкавших с ним помещиков, не решаясь идти объясняться с обидчиком.

На все это Алексей Алексеевич объявил, что готов или стреляться, или жениться, как того пожелает Степаниды Ивановны отец, но не раскаивается и при удобном случае готов опять целоваться.

Иван Африканович, папенька, услышав, что приезжий офицер готов целоваться, зарыдал и, водя носом, более похожим на огурец, чем на что-либо другое, по синему мундиру красавца Брагина, лепетал: «Ведь я же люблю мое дитя, сироту несчастную, сделай милость, женись на ней, благодетель».

Только долго спустя догадались, что Иван Африканович свыше всякой меры «набодался» наливками, и увели его в



садовую беседку спать.

Степанида Ивановна, отклонив от себя заботы хозяйки и дам, сидела в гостиной, прямая и белая, как свеча, и, как свеча, горели ее глаза, так что страшно было взглянуть. Узнав, что Брагин не отказывается от предложения, она поднялась и вышла из дому, высоко подняв голову, сжав губы. Свадьбу сыграли через неделю. Напился весь город.

Так сменила Степанида Ивановна тоскливую девичью жизнь на новую, полную страсти, роскоши и горя.

Ревновала Степанида Ивановна мужа ко всем, но больше всего к памяти первой жены его, и если бы Алексей Алексеевич говорил о той первой, сравнивал бы их обеих, поддразнивал бы свою теперешнюю супругу, все же легче было бы Степаниде Ивановне.

Но Алексей Алексеевич никогда не вспоминал имя первой жены, и даже во время ссор, когда, побледнев, с трясущимися губами, выкрикивала Степанида Ивановна: «Ты ее любишь, ты о ней думаешь... поди ищи ее...» – только пожимал плечами, гладил задумчиво каштановые усы.

Со временем ревность к той не только не сгладилась, но «перешла в характер» Степаниды Ивановны. По ночам ей вдруг начинало казаться, что та, Вера, только что была между ней и Алексеем: невидимая и неслышная, ложилась она в постель к Степаниде Ивановне и делала свое страшное дело с мужем... Степанида Ивановна поспешно будила Алексея Алексеевича и, когда он, большой и сонный, мычал, закры-

вая голову одеялом, льнула к нему, вся обожженная ревностью, страстью, злостью.

Временами наступало затишье. Алексей Алексеевич, довольный миром, сидел дома в вышитых бисером туфлях и курил трубки. Но ненадолго успокаивалась горячая голова Степаниды Ивановны. Думая ли о мужниной военной карьере или о быстро уменьшающихся средствах, – Алексей Алексеевич крупно играл в карты, – шла она неуклонно в своих мыслях всегда к одному и тому же пункту: в такие-то часы муж был неизвестно где, – значит... Она опускала вязанье, начинала допрашивать, ставила колкие вопросы, и, смущенный, сбитый с толку, Алексей Алексеевич сознавался, что действительно поухаживал слегка за какой-то там Варенькой.

Степанида Ивановна швыряла вязанье, заламывала руки и лишалась чувств.

Не раз Степанида Ивановна выручала мужа из беды. Алексей Алексеевич уезжал иногда в провинцию и ежедневно с пути отправлял письма, полные уверений в любви и верности.

Однажды он уехал и замолчал. Прошло три дня. Степанида Ивановна не велела никого принимать, разогнала прислугу и день и ночь ходила по комнате, как дикая кошка. Ей представлялось бог знает что, – непереносимые ужасы.

На четвертые сутки пришла телеграмма; «Проиграл сорок тысяч, стреляюсь. Алексей».

Степанида Ивановна спокойно приказала себя одеть, взяла драгоценности, все серебро и поехала в ломбард.

Там ей выдали двадцать пять тысяч. В Дворянском банке, где был знаком директор, выдали под перезалог тульского имения еще пять тысяч, не хватало десяти. У кого достать? Степанида Ивановна боялась огласки. В этот день была минута, когда ей изменили силы.

К вечеру она решила. Накинула шубку, подошла к зеркалу и пронзительно взглянула на себя: «Хороша, хороша».

Карета, ждавшая у подъезда, помчала ее по мокрым улицам на Гагаринскую, где жил молодой, делавший блестящую карьеру дипломат – Ртищев. Он явно всегда ухаживал за красавицей Брагиной.

Без доклада войдя в кабинет Ртищева, Степанида Ивановна затворила дверь на ключ и молча сбросила с обнаженных плеч соболью шубку.

Что произошло в кабинете у Ртищева – Степанида Ивановна никому не рассказывала. С десятью добавочными тысячами помчалась она в той же карете на вокзал, откуда на следующее утро поезд привез ее в провинциальный городишко.

Она тотчас же отыскала гостиницу, где стоял Алексей Алексеевич. Половые немало были изумлены, увидав даму в бальном платье с кожаной сумкой в руке, бегущую, как сумасшедшая, по коридору.

Половой загородил было ей дверь, но Степанида Иванов-

на ударила его сумочкой и вошла в номер. На ковре, на диванах, положив ноги на кресла, дремали офицеры, валялись бутылки и карты, было сизо от табачного дыма. Пробежав меж спящими, Степанида Ивановна увидела на постели мужа, он крепко спал, зажав в руке цыганский платок с нашитыми монетами. Степанида Ивановна платочек вырвала и растоптала ногами, затем сумочкой, полной денег, принялась колотить Алексея Алексеевича по щекам. Но все же была слишком рада (или чувствовала и себя отчасти не безгрешной), чтобы долго сердиться.

Когда наступила турецкая война, Алексей Алексеевич перевелся в действующую армию, и Степанида Ивановна уехала с мужем.

В походе жила она в палатке, чинила мужнино белье, ругала денщика, который так боялся барыни, что только неестественно мычал, когда она его о чем-нибудь спрашивала, давала мужу военные советы, один раз даже собственноручно выстрелила в турка, оказавшегося бабой-маркитанткой.

В палатке в час, когда горнист играл утреннюю зорю, она родила девочку, но ребенок не прожил и трех дней. На десятые сутки после родов Степанида Ивановна переезжала верхом Дунай...

Война окончилась счастливо для Алексея Алексеевича, он быстро пошел по службе, Степанида Ивановна была принята при дворе. Но волосы ее уже стали седеть, тело подсыхать, и, несмотря на удовлетворенное честолюбие, мучилась

она пуше прежнего, глядя на дородную, веселую фигуру мужа, всегда окруженного хорошенькими женщинами.

Алексей Алексеевич получил генерала, но хватил его легкий ударчик, пришлось выйти в отставку, и он переехал с женой в деревню – родовую вотчину Гнилопяты на луговой стороне Днепра.

Там, успокоившись от суеты, возобновил он переписку с некоторыми друзьями, в том числе с братом первой своей жены – Ильей Леонтьевичем Репьевым, отвечавшим пространными умозрительными рассуждениями о жизни и христианской любви на меланхоличные письма друга.

Начитавшись этих писем, Алексей Алексеевич решил сделать Репьеву удовольствие и попросил отпустить на лето погостить в Гнилопяты дочку его Сонечку, которой сам Алексей Алексеевич доводился крестным отцом.

Степанида Ивановна отлично помнила, чья была Сонечка племянница, но без особенных споров согласилась на ее приезд оттого, что все помыслы ее заняты были новым, необыкновенным делом, о которой она никому пока еще не сообщала.

Про дело это прослышала Степанида Ивановна перед отъездом в деревню от старичка шведа (приходившегося Алексею Алексеевичу дальним родственником по бабушке шведке, урожденной Вальдштрем) и теперь на свободе обдумывала план, долженствующий имя Алексея Алексеевича внести в страницы истории.

Но для выполнения этого необычайного плана надобно было много денег, состояние Брагиных сильно поиздержалось, Гнилопяты приносили тысяч пять дохода, чего вместе с пенсией только в обрез хватало на жизнь. Степанида Ивановна решила искать клад.

По берегам Днепра, в размываемых половодьем кручах, на островках, открывались время от времени богатые клады, – зарывали их с незапамятных времен и варяги, и запорожцы, и гайдамаки, и польские паны, и булавицы, – все, кто прошли по днепровским берегам. Рассказы об этих кладах слышала Степанида Ивановна от монашенок соседнего с Гнилопятами монастыря. Монашенки толком ничего не знали, но однажды одна из них сообщила, что недавно у игуменьи появился план сокровищ украинского гетмана Мазепы, собранных им для воцарения на малороссийском престоле и покинутых во время бегства со шведским королем.

Монашенка во всем этом клялась и божилась. Степанида Ивановна собралась к игуменье, но приезд Сонечки отвлек на время ее внимание на мужа и эту девушку, так похожую на портрет покойной Веры.

Вчера произошла ссора с мужем, не первая, но особенно язвительная для генеральши, и Степанида Ивановна, припомнив поутру все мучения долгой своей жизни, едва не ослабела духом.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

– Боже мой, сколько тягот! Ах, Алексей, и все, все это – для тебя. Неблагодарный, жестокий!

Степанида Ивановна села в кровати, натянула на колени одеяло, поправила чепец и позвонила.

Вошла горничная Люба с чашкой шоколада и серебряным подносом с печеньями. У окна закричал в клетке попугай:

– Любочка!

Люба, улыбаясь, поставила поднос на столик, подошла к клетке и просунула между прутьями палец, – попугай тотчас же стал тереться о него зеленой головкой.

– Оставь попугая, – сказала генеральша, сердито глядя на молоденькую горничную. – Генерал встал?..

– Их превосходительство сюда идут, – улыбаясь, ответили краснощекая Люба. – Барышня давно в столовой.

– Подай зеркало и пуховку. Скорее же!

Люба, подняв овальное в бронзовой раме зеркало, подошла и, опершись коленом о кровать, откинулась так, чтобы Степанида Ивановна, поднявшая руки к седым буклям, могла видеть маленькое свое, с синевой под черными глазами, смуглое лицо в мелких морщинах.

Степанида Ивановна провела пуховкой по щекам, налила из хрустального флакона на плечи и руки сладких духов и карандашом отчеркнула тонкие брови...

– Теперь хорошо, ваше превосходительство, – сказала Люба. – Только бровка левая чернее вышла...

Степанида Ивановна посмотрела на круглое с поднятым носом веселое лицо горничной, перевела взор на себя, повернулась в профиль и подрисовала бровь.

В дверь постучали. Люба поспешно прислонила зеркало к кровати и побежала отворять. Вошел генерал.

Высокую его дородную фигуру свободно охватывал китель без погон, на ногах были панталоны с лампасами и бархатные туфли. Львиное, слегка насупленное лицо розовело от здоровья, полные губы добродушно улыбались. Белые, с подусниками, усы – расчесаны.

– Проснулись, ваше превосходительство, – сказал Алексей Алексеевич и заложил руки в карманы. – А ведь я недурно выспался в кабинете. А! – и, взглянув на горничную, захохотал, довольный, что победа на его стороне...

Люба выскользнула из комнаты. Алексей Алексеевич прошелся по ковру.

– С вечера у меня, ваше превосходительство, в бок немного кольнуло, а я и думаю: пусть лучше покалывает, чем упреки твои, душа моя, слушать...

Генерал прищурил один глаз, желая, очевидно, примирения, и болтал всякий вздор. Степанида Ивановна поджимала губы, ноздри у нее вздрагивали.

– Я ответственна за Софью, – вдруг ни с того ни с сего сказала она сухим голосом. – Я не допущу, чтобы ты ее це-



ловал и сажал на колени.

Генерал сразу остановился, вынул из карманов руки.

– Она не кровная родня, чтобы относиться к тебе, как к деду, – продолжала генеральша. – Ваше с ней поведение считаю неприличным, если не...

– Молчать! – сказал генерал.

– Вчера меня старухой назвал, – не сдерживаясь более, закричала генеральша, – находишь эту девчонку слишком молодой. Вижу, вижу – она на тебя не по-родственному посматривает...

– Что? – Алексей Алексеевич начал багроветь...

Но бес генеральшин сорвался, и чем больше раздувался генерал, тем безрассуднее, ядовитее придумывала генеральша слова...

– Ох, ох! – повторял Алексей Алексеевич, оглядываясь, чтобы найти метательный предмет. Солнце блеснуло на резьбе серебряного подноса.

– Замолчи! – воскликнул генерал, хватая поднос, поднял его над головой.

– Я ее выгоню! – взвизгнула генеральша...

– Генерал, ура! – закричал попугай...

Алексей Алексеевич, целясь так, чтобы не попасть, бросил в генеральшу подносом. Печенья рассыпались по простыне. Степанида Ивановна сейчас же затихла. Генерал вышел, ударив дверью.

Когда испуг миновал, Степанида Ивановна усмехнулась,

сбросила с колен печенья и, босая подойдя к двери, повернула ключ.

Генеральша была очень довольна тем, что Алексей Алексеевич едва не убил ее подносом. Вчера, увидя нежную привязанность мужа к Сонечке, решила она выдать во что бы то ни стало девушку поскорее замуж и в уме подыскала даже жениха – молодого дипломата Смолькова.

Алексей Алексеевич терпеть его не мог, может быть потому, что Смольков приходился племянником Ртищеву, с которым у генерала были старые и особые счеты, – он наотрез отказался его видеть. Степаниде же Ивановне особенно тогда захотелось выдать Сонечку за Смолькова. Теперь представлялся удобный случай: генерал будет каяться в поступке с подносом, размякнет и напишет Смолькову.

Затворив дверь, генеральша выпила шоколад, накинула пеньюар, легла на диванчик и принялась громко вздыхать и стонать: «Боже мой, боже мой!..»

Она знала, что Алексей Алексеевич будет на цыпочках подходить к двери и прислушиваться, но решила из комнаты не выходить, пока генерал не даст нужного обещания.

Алексей Алексеевич, как только выбежал от жены, отер платком пот со лба и, выпустив из надутых щек воздух, пошел по коридору в столовую, дверь в которую была из разноцветных стекол.

– Фу, как гадко! – сказал Алексей Алексеевич. – Ведь до-

вела же человека! Фу! – Чтобы войти в столовую веселым, он помедлил около двери.

Смотря сквозь красное стекло, увидел он столовую, обитую дубом, с резными панелями, с саксонскими блюдами на стенах, и за столом – девушку, терпеливо сложившую руки в ожидании прихода деда. Сквозь стекло все это казалось красным.

Алексей Алексеевич передвинулся налево к зеленому стеклу, и комната и девушка стали зелеными. Генерал приотворил дверь и шепотом позвал:

– Сонюшка, поди-ка сюда...

Сонечка тотчас же встала и, улыбаясь, подошла. Вдвоем они стали смотреть сквозь цветные стекла.

– Фу! – опять сказал Алексей Алексеевич. – Задала мне бабушка феферу, я в нее подносом бросил, фу. – Генерал, зажмурясь, покрутил головой...

– Зачем вы не сдерживаете себя? – сказала Сонечка и поцеловала деда в плечо.

– Ну вот поди же ты! А ты что – пила кофе?

– Я вас ждала.

– А думала о чем?

Сонечка опять улыбнулась, и они сели к столу, развернули накрахмаленные салфетки. Лакей Афанасий, курносый, рыжий и нахальный, любимец генеральши, налил кофе. Генерал, мешая ложечкой, задумался.

Глядя на ласковое, вдруг опустившееся его лицо, на под-

нявшие от печального недоумения брови, пожалела Сонечка деда. Стараясь не стучать, налила она сливок в кофе, отломил кусочек сладкого хлеба, положила в рот, но уже поднятая к губам позолоченная внутри чашка задрожала в ее руке, синие глаза заволоклись слезами.

– Поди ко мне, – взволнованно проговорил генерал, привлекая Сонечку. – Не надо плакать, бабушка тебя любит и сама знает, что говорит напрасно, – у нее характер тяжеловатый, но она добрая... А ты поменьше к сердцу принимай...

– Нет, – отвечала Сонечка, качая головой, – я знаю, что мне нужно уехать отсюда.

– Да тебя никто и не отпустит. Знаешь что – идем и помиримся с бабушкой. Хорошо?

Алексей Алексеевич бодро встал, обнял Сонечку за плечи, но, должно быть, не очень верил в это «хорошо», так как замедлял шаг, идя по коридору, и уже совсем тихо постучал в дверь.

Сонечка взглянула на деда, как бы спрашивая: а что, если?.. На стук громко застонали за дверью; Алексей Алексеевич поднял брови, прошептал: «Слышишь!» – и смелее постучал в дверь.

– Кто там? – был слабый голос.

– Это мы, бабушка, – весело крикнул Алексей Алексеевич. – Отопри, пожалуйста, – нехитрым видом мигнул Сонечке.

Но за дверью не отозвались. Потом с шумом упало там

что-то, зазвенело стекло...

– Ай! – прошептала Сонечка, как котенок, но Алексей Алексеевич погрозил ей и в третий раз постучал...

Ответа не было.

– Села в бест! – сказал генерал уныло. – Надолго. И он пошел к себе, а Сонечка поднялась наверх в антресоли, села в кресло к окну, вздохнула и открыла томик – «Вешние воды».

«Не виновата, – подумала Сонечка, – и ничего такого не сделала».

Вздохнула еще раз, но уже легче, и наклонилась над книгой, чувствуя сладкую грусть от одного только названия повести.

Сонечке шел девятнадцатый год. Светловолосое личико ее было детское, с нежным ртом, с синими, еще мало осмысленными глазами. Все же она была очень хорошенькая девушка, среднего роста, в холстинковом платье, слегка неловкая и застенчивая, но в неловкости ее было очарование здоровой прелести девятнадцати лет.

Прочтя несколько страниц, Сонечка подняла голову и поглядела в окно на сухую ветку, на которой вот уже полчаса сидела старая ворона, вертела головой.

«Вот глупая», – подумала Сонечка и, начав новую страницу, забыла предыдущее, заглянула назад, – ах, да, – и несколько раз с наслаждением прочла любимое место.

Кончилась глава, в ушах звенело, и Сонечка, глядя перед собой, уже не видела вороны: откинувшись на спинку стула,

мечтала она, ставя себя на место героини. Герой всегда был один и тот же.

На нем – доверху застегнутый черный сюртук, прядь черных волос падает на белый лоб, жгучие, честные глаза ищут кого-то. Он выходит из той вон боковой аллеи, держа шляпу в руке. Полы сюртука отдувает ветер. Он ищет – кого? Он думает – о ком?

Себя Сонечка считала недостойной его – слишком глупой. Но все же герой нашел ее жгучими своими глазами. Он подошел; он говорит о возвышенном. Сонечка обмирает. Он берет ее руку. – Идем! – Ведет в беседку...

Дальнейший ход мыслей был таков, что Сонечка вставала, на цыпочках шла к умывальнику, мочила конец полотенца в холодной воде и прикладывала к вискам. Затем бывало раскаяние в грешных мыслях, но все же они повторялись все чаще и чаще, все труднее было с ними совладать.

Сегодня Сонечка отложила книгу, вынула из рабочего столика шелк, канву, наперсток, поставила ноги на скамеечку и, сжав колени, прилежно стала вышивать.

«Как же с бабушкой? – думала она. – Может быть, обойдется, а уж я все сделаю, – постараться бы с дедушкой быть меньше вдвоем».

Сквозь окно слышался стук ножей на кухне. Где-то курица, должно быть, снеся яйцо, тихо стонала – не в силах закричать. Петух разволновался и заорал, захлопал крыльями. Плелась по двору собака, наступая лапами на обрывок

веревки. В безветренном, словно полинявшем небе плавал коршун, высматривая цыплят.

Скучно и томительно в июльский зной сидеть у окна, глядя на опустевший двор усадьбы. Весь народ в поле. На усадьбе осталась только стряпуха, которая с утра до ночи печет ржаные хлебы, отправляемые вместе с солью, бараньим салом и пшеном в поле, или, угорев от печи, выскакивает из людской на двор и кричит благим голосом, требуя расчета и скребя волосы на голове. Но на крики ее никто не отвечает, разве приехавший с работ приказчик лениво выругается и плюнет, и она с ревом бросится назад в пекарню.

Да еще двое белоголовых мальчиков – один в штанах, другой без штанов – возятся на куче золы, набивая золой продранный валенок.

Жарко, безветренно и тихо. Глаза у Сонечки слипаются, игла скользит из пальцев. Пойти бы к деду, да нельзя. Искупаться бы, да вода такая теплая, что по всему телу от нее зуд. Хорошо где-нибудь в густом лесу у ручья, в траве. Вода журчит. Голова у Сонечки клонится.

В полдень не легче и Алексею Алексеевичу. Пять раз подходил он к генеральшиной двери, говоря то шутя, то ласково: – Полно, Степочка, отвори. Ей-богу, я раскаиваюсь. А?

Заманчиво представляется ему сидеть сейчас в генеральшиной комнате: там прохладно, не то что в обращенном на юг кабинете, где нагрелась кожа дивана от солнца, бьющего

сквозь спущенную парусиновую штору, и по мокрому лицу ползают мухи.

В генеральшиной спальне можно развалиться в кресле у окна, закурить сигарку и, попивая что-нибудь прохладительное, посмеяться над давешней историей. А теперь без Степаниды Ивановны даже квасу не добьешься.

– Ей-богу, видишь: вот я и перекрестился, никогда больше не стану подносом бросать, и вообще... – в отчаянии говорил генерал, шестой раз подойдя к двери.

– Что тебе надобно? – ответила, наконец, Степанида Ивановна ледяным голоском.

– Мириться, мириться! – Алексей Алексеевич радостно потянул дверную ручку. – Ну, полно же тебе.

– Я спрашиваю: что тебе от меня надо?

Генерал опешил.

– Как что? Я думал...

– А что ты думал, когда убивал меня подносом?

– Степочка!

– Я до сих пор дрожу от страха, – может быть, ты сейчас войдешь и зарежешь меня.

– Степочка! – воскликнул Алексей Алексеевич, тоскуя в темном коридорчике. – Прости меня, я все сделаю.

– Ах, мне ничего от тебя не нужно, я скоро умру.

– Боже мой, что же тебе нужно?

Степанида Ивановна помолчала, потом сказала тихо:

– Напиши письмо Смолькову...



– Кому? – спросил генерал, хотя ясно услышал. – Кому?

– Смолькову, – громко сказала генеральша. – Я хочу, чтобы он сюда приехал.

Алексей Алексеевич нахмурился. Степанида Ивановна громко принялась стонать и сморкаться.

«Все равно, – подумал Алексей Алексеевич. – Смольков не хуже других, черт с ним, руки не отвалятся».

Так состоялось примирение, и было отослано в Петербург княгине Лизе Тугушевой политическое письмо, где говорилось, что супруги Брагины хотели бы видеть у себя Смолькова, а в P.S. сделана пометка: гостит у нас Сонечка Репьева, милая и прелестная девушка-Письмо отправили на почту с нарочным, и Степанида Ивановна, приласкав, наконец, растроганного супруга, приказала заложить коляску, чтобы ехать в монастырь.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Монастырь лежал под горкой в густом вишневом саду. Пирамидальные тополя росли вдоль невысоких стен, сложенных из камней когда-то бывшей здесь в давние времена крепости.

У монастырских ворот стояли заколоченные балаганы для продажи съестного во время праздников. Длинные стены, фруктовый сад, келейки уходили в дубовую рощу, откуда вытекал и по сухим листьям и веткам бежал под стену и в сад студеный ключ.

В саду на полянках, очищенных от вишенника, – под грушей или яблоней, – стояли мазанные из глины, выбеленные кельи. У каждого порога лежало по камню для отдохновения, и на двери был нарисован синею краской осьмиконечный крест. В глубине сада, там, где сходились проторенные в траве тропки, над зеленою дерев поднимались полинявшие луковицы древнего храма с железными крестами.

Теперешняя игуменья, мать Голендуха, не пожелала, чтобы монашенки жили порознь в далеко одна от другой стоящих кельях. Являлось от этого великое баловство, особенно в апреле месяце, когда сокращали службы, чтобы более оставалось времени для садовых работ. Монашенки тогда ходили, как пьяные, в черных своих рясах, щеки их загорали, и напевы духовных стихов смущали не одного прохожего

за белой стеной, а мать Голендуха только вздыхала, говоря: «Какое же это ангельское пение? – один блуд».

Поэтому, с благословения архиерея, собственным иждивением был построен деревянный дом близ церкви... В одной половине его, лицом в сад, находились трапезная и келья игуменьи, а в другой, окнами на скотный двор и курятники, – кельи сестер.

– Пусть их на курей посмотрят, – говорила мать Голендуха. – Куря всегда ногой в навозе зерно найдет, значит имеет настоящую веру. А мои-то: подай им того, сего – пирогов да моченых яблоков, а сами только и норовят о скоромном шептаться.

О пастве мать Голендуха мнения была неважного:

– Тоже вот в прошлое Христово воскресение сестра Клидинья двадцать пять яиц за раз съела, – двадцать ведь пять... Соборовали. Я ее стыдить: как, говорю, с таким брюхом на тот свет полезешь? Ничего, отдыhalась, – чистая корова, прости, Господи.

Росту мать Голендуха была небольшого, но сложения тучного. Вся насквозь она пропиталась кислым ладаном, что особенно усугубляло веселость, которую испытывал, встречаясь с нею, каждый.

Монашенки боялись игуменьи, как огня. Бывало, в зимние вечера, собираясь у длинного стола трапезной вышивать воздухи, бисерные кошельки, колпачки на ламповые стекла или скатерти, слушали они, шурша работой, как мать Голен-

духа разговаривала, попивая грушевый квас:

– Что же вы, дуры, думаете, что вас всех и заберут в рай? Да ведь, не к ночи будь помянуто, дьявол должен чем-нибудь пропитать себя...

– Где уж нам! – отвечала самая шустрая из сестер и вздыхала прилично. – Нам-то хоть бы смирение показать.

– Закрой рот, – говорила мать Голендуха и стучала кружкой. – Разговорилась! За язык возьмут тебя черти, дура оглашенная, и станут держать во веки веков.

Монашенки, низко склонясь, молчали. Мать Голендуха вытирала рот, складывала на животе руки.

– Нет, – продолжала она, – ты его побори сначала, зажми ему хвост, а потом смирение показывай... А то тра-та-та, тра-та-та, целый день: «Мать игуменья, дозвоьте в лес добежать, сушняку при несть». Сушняку!.. Знаю, какой сушняк собираете. Сушняк-то у вас в штанах ходит... Не видела я разве, как сестра Гликерья в ручье мужеские вретича полоскала...

Мать Голендуха открывала совершенно круглые глаза и, стуча костяшками по столу, ужасно шептала:

– Вот в старые времена задрали бы тебе ряску да на горячую плиту и посадили: грей проклятое место.

Душеспасительные беседы не занимали всех помыслов матери Голендухи. Хозяйство монастыря тревожило ее и беспокоило. Кроме вишневого сада, обитель владела еще тремястами десятин пустошей да Свиными Овражками –

неизвестно кем и когда перекопанным местом, полным щебня и камней, откуда вытекал монастырский прохладный ключ.

Всего этого едва хватало для пропитания тридцати душ и благолепия церкви, а о прикоплении денег или покупке земли нечего было и думать.

Поэтому мать игуменья благословила одну из сестер, испытанную мать Нонну, идти собирать пожертвования на храм.

Мать Нонна шла по деревням и городам быстрой поступью, всегда веселая и говорливая, собирая с крестьян по копейке, с купцов по рублю. Память у Нонны была чрезвычайная: не только имена живущих, но дедов и прадедов их помнила она по всей Руси. Придя в город, тотчас же справлялась на базаре, кто умер, кто родит, кто сына женит, и стучалась из дома в дом, хозяйюшке предлагала просфору, без малого фунтов в пять, присовокупляя подарочек словами – не в бровь, а прямо в глаз. На купцов и старосветских дворян действовало это чрезвычайно. Полная сума была у матери Нонны.

Попивая чаек, любила рассказывать Нонна приветливым своим голосом, каких видела людей, да где какие святые иконы проявились, да кто на ком женится... Чертей видела она три раза. Один – маленький, хворый – был к ней даже привычный, звала она его не христианским, конечно, именем, а собачьим – Полканка, – очень жалела.

Возвращалась мать Нонна обыкновенно к Рождеству и приносила немало денег, но иногда пропадала года по два, забредя за Окиян. Тогда мать Голендуха, для поддержания средств, объявляла монастырский ключ целебным и продавала в склянках – три копейки за штуку, пятак пара – дивную воду.

Но недавно Господь воистину сжалился над монастырем. Сестра Клитинья, после того как на святой объелась яйцами, стеная и призывая скорую смерть в избавление от колик, открылась на духу священнику, а потом отдельно матери игуменьи, что помирает не от своего аппетита, а оттого, что хранит страшную тайну – старинный клад, зарытый на крови.

Мать Голендуха выспросила все подробно – как сусек выскребла – и, отобрав у Клитиньи какой-то документ, возликовала в своем сердце, ожидая для монастыря великих милостей.

Сначала мать Голендуха думала сама копать клад, но, рассчитав, что денег на это не хватит, да, пожалуй, и бес там замешан, послала монашенку к генеральше Степаниде Ивановне.

Степанида Ивановна ехала в монастырь на паре вороных, которых звали – Геркулес и Ахиллес. В древности они были, может быть, героями, но теперь, неспешно волоча покойную коляску, старались поставить кривые ноги куда помягче. И всегда, садясь на этих коней, генеральша говорила кучеру:

«Смотри, держи, чтобы не разнесли». На что кучер отвечал беспечно: «Помилуйте, не впервой».

По дороге Степанида Ивановна обдумывала политичный разговор с игуменьей. Когда показались над зеленью синие главы церкви, белые ворота и коляска мягко зашуршала по песку въезда, генеральша беспокойно задвигалась на подушках, вынула из ридикюля английскую соль и поднесла к носу.

Мать игуменья встретила генеральшу на крыльце, приветливо кланяясь по уставу, Степанида Ивановна сложила зонтик, кивком ответила на поклон и, подхватив лиловое шелковое, покрытое кружевной сеткой платье, вышла из коляски и поднялась на крыльцо.

– Благодетельница, – запела мать Голендуха, закрыв глаза, – все это вы порхаете, все порхаете, как птица-голубь, а я-то, грешная, все сырею, все толстею, – так и думаю: выйду в лихой день на крылечко, оступлюсь и расколуюсь, как дыня.

При этих словах щеки у матери Голендухи расплылись, действительно став похожими на спелую дыню, что лежит, прикрытая листом, на бахче.

Степанида Ивановна села на крылечке и, глядя на пышный, сбегаящий вниз вишенник, сказала со вздохом:

– Отдохнуть приехала в ваш рай земной. Устала от забот...

При этом она поглядела искоса на игуменью. Игуменья в свою очередь – также искоса – поглядела на генеральшу.

– И, какой у нас, благодетельница, рай, мы еще многих

иных грешнее.

Обе женщины хитрили, и ни одна не начинала нужный разговор. С вишенника веял пахнущий смолой ветер, пролетали грузные пчелы, а невдалеке, должно быть – из кельи, слышалось монотонное пение духовного стиха. Умиротворилась, казалось, душа певуны, не дивится более ничему и поет только потому, что по всей земле, в каждом листе, во всем, что живет и дышит, бьется вечный, однообразный шум живых ключей.

На крыльцо из дома вышла монашенка, принесла стол, накрыла его вышитой ширинкой и поставила расписные чашки. Другая монашенка принесла самовар и положила в трубу березовую ветку, чтобы дым отгонял мошек.

– Грешница, люблю чаек попить, – проговорила мать Голендуха, – но не такой это грех, как сумасшедшие капли. Вон у нас священник на Пасху наприкладывался сумасшедших капель, – водки то есть выпил, а пьет он, как насос, – и пошел служить молебен к доктору, а у доктора аптечный шкаф картинками обклеен разного веселого содержания. Поп-то повернулся к шкапу и давай кадиллом махать. Доктор ему: «Батюшка, образ вон в том углу, а это непотребство; извините, что я его простыней не закрыл...» – «Это, – говорит поп, – мне все равно, я к этому отношусь неглижа». Видишь ты, до неглижа и довели его сумасшедшие капли.

Степанида Ивановна сделала губами звук «тсс...» Качнула кружевной косынкой и сказала:



– Варенье прекрасное у вас, мать игуменья. Из своей вишни варили?

– Из своей, для гостей держим хороших...

– А говорят, в этой местности клады всевозможные зарыты?

– Множество.

– Говорят, вы знаете один такой, интересно бы послушать.

От глаз игуменьи тотчас же побежали морщинки. Хитрейшие стали глазки. Грузно повернувшись на стуле, она сказала:

– Сестра Клитинья, подойди к нам.

Тотчас же к столу подошла в порыжевшей ватной рясе Клитинья. Сложив руки на груди, поклонилась, посмотрела на яства, уставлявшие стол, и, опустив желтое скуластое лицо, стала у притолоки.

В глухих деревнях рождаются такие большеголовые дети, которые едят и не могут наесться. Чувство голода передается им по наследству, как иным талант. Так и у Клитиньи было желтое лицо и большой рот, полный жадности.

Степанида Ивановна со страхом и отвращением оглядела монашенку. Игуменья, степенно сунув пальцы в пальцы, молвила:

– Расскажи нам, сестра, все, что знаешь.

Клитинья облизнула губы и тихим голосом стала рассказывать все, что знала изустно от отца и деда о предке своем Осипе Кабане.

«Был он, Осип Кабан, мальчишкой о двенадцати годках. Позвали его на гетманский двор ночью и повели с двенадцатью молодыми казаками рыть подвалы в горе. Туда же им пищу приносили. Рыли они три месяца, а когда кончили рыть, подарил им гетман красные шаровары, белые свитки и каждому шапку и сказал: «Идите за мной, слуги мои, возьмите сундуки кованые, поставьте их в те подвалы. Когда все делаете по моему слову – награжу по-царски».

Понесли они кованые сундуки. Шесть их было насыпано серебром, три – красным золотом, три – жемчугом, а Осип Кабан нес корону золотую, весом пять фунтов с четвертью.

Позади всех шел гетман Мазепа и держал острую саблю.

Дошли они до самого дальнего подвала, поставили сундуки, замуравили дверь, и приказал гетман казакам стать на колени, вынул книгу и начал читать заклятые слова. Потом взял Мазепа острую саблю и отрубил голову всем двенадцати казакам, а Осипу приказал завалить двери подвальные до самого входа и ставить приметы: *каменную голову, орла и четырехконечный крест.*

Послушался Осип и все выходы завалил, а сам думает: лежать ему здесь тринадцатому без головы. Стал он на колени и попросился перед смертью прочесть «Отче наш...» Когда Осип сказал «аминь», гетман взмахнул саблей, а рука у него заостенела, – не опустить... Понял злодей, что неправильно сотворил, и убежал из подземелья.

А Осип Кабан как преклонял на молитве колени, так и

остался на всю жизнь колченогим, чтобы не забыть Божьего чуда. Аминь».

Клитинья кончила рассказ и опять стала глядеть на еду, а Степанида Ивановна все еще слушала, – на щеках у нее выступили пятна, глаза были сухи.

– К тому имеются у нас документы и план, – сказала игуменья строго. – Осип Кабан, помирая, план оставил.

Степанида Ивановна вздрогнула и положила руки на грудь, не в силах молвить слова. Мать Голендуха, вынув из-под рясы ветхие листки синеватой бумаги, продолжала:

– Вот план и надпись: «Сей план снимал Осип Кабан, Господней милостью остался жив и руку приложил». Вот описание плана и приметы, и вот опись, что есть в сундуках... Уйди, Клитинья, – окончила мать Голендуха и, прикрыв правой рукой ветхие листки, сделала сладчайшее лицо. – А лежат сии подвалы, благодетельница Степанида Ивановна, на нашей монастырской земле, как раз в Свиных Овражках. Ни в одной лавре нет такого богатства, как у нас. Но мы не хотим земного, нет, не хотим, – гонимся за небесным: не земного ждем, а Небесного Жениха... – При этом у матери Голендухи глаза укатились под лоб, рот раздвинулся, показав единственный передний зуб, а все лицо изобразило наглядно, как они ожидают жениха.

– Так продайте же мне Свиные Овражки! – необдуманно воскликнула генеральша и от волнения поднялась со стула.

Но мать Голендуха печально покачала головой и ничего

не сказала, но было ясно, что на продажу склонить ее возможно...

С этой мыслью и уехала Степанида Ивановна из монастыря. За экипажем поднялась легкая пыль, золотистая от низкого солнца. Геркулес и Ахиллес степенно бежали по дороге, вспоминая былую славу.

Степанида Ивановна места себе не могла найти в коляске, раскрывала и закрывала зонтик, сбросила с колен плед и, оглядываясь на монастырь, шептала:

– Корона там, его корона, сама судьба ведет меня. Ах, Алексей, если бы знал, как я вознесу тебя!

Степаниде Ивановне казалось, что если так внезапно и просто дается в руки огромное богатство, не может не осуществиться заветная цель. Необходимо было пока скрыть даже от мужа существование клада, чтобы не дошли слухи и правительство не потребовало львиной доли. Затем достать денег для раскопок и выкупить место у монастыря. Можно продать гнилопятский заповедник и всю рожь. Потом скорее сбыть с рук Софью – помеху в такое важное время.

Степанида Ивановна сжимала пальцами виски и так сильно, что разболелась голова. Вспомнив о Сонечке и желая отогнать волновавшие мысли, генеральша подумала:

«В сущности не такого бы ей нужно мужа, как этот ветрогон Смольков. Но сделано – не воротишь, а выходить замуж надо же когда-нибудь. Приеду, – приласкаю ее и бедного Алексея. Ах, глупый, глупый! Ведь все это для тебя, для

твоего счастья».

Чуя дом, кони побежали под горку рысью. Околицу отворил пастух с котомкой на спине, снял шапку и долго смотрел на блестящий экипаж.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сонечка сильно перетрусилась, когда горничная Люба таинственным шепотом позвала ее к генеральше.

Сбежав по деревянной винтовой лестнице, мимоходом взглянула Сонечка в зеркало и, увидев, что щеки бледны, хлопала их ладонями. В это время дверь кабинета приотворилась, и генерал, просунув одну голову, прошептал:

– Не робей, Сонюшка, бабушка добрая, ты только молчи да ручку поцелуй.

– Хорошо, – сказала Сонечка улыбаясь. – И потом к вам забегу, расскажу. – И пошла на цыпочках по коридору.

Генеральша сидела боком к туалету, играя веером. Когда вошла Сонечка, она улыбнулась, привлекла девушку, усадила на скамеечку у ног своих и потрепала по щеке.

– Зачем ты так туго закручиваешь косы? – сказала генеральша. – Их нужно плести совсем легко.

– Хорошо, – ответила Сонечка, робея. – Я больше не буду.

– Я на тебя не сержусь, глупая, сядь сюда, я покажу, как нужно убирать волосы.

Быстро распустив Сонечкины косы, упавшие до полу, Степанида Ивановна принялась черепаховым гребнем медленно их расчесывать.

– Вся сила женщины в волосах – в них заключено электричество, и, смотри, никогда не надевай на ночь шелковых

чепцов. Когда твой муж ляжет подле тебя, распусти волосы, чтобы они касались его лица: тебя он может забыть, но запах твоих волос никогда. Никогда не души их духами, волосы должны пахнуть тобой.

– Бабушка, – прошептала Сонечка, пряча лицо в рукав генеральши, – я не собираюсь замуж.

Степанида Ивановна медленно засмеялась, расчесала, заплела Сонечке две косы, обвила их вокруг лба и перевязала синей лентой.

– Теперь ты красива, – проговорила генеральша, держа ладонями Сонечкину голову. – Посмотри на меня. Ах, дитя мое! Ты женщина, тебя ждет все та же участь.

Она отошла от туалета и, шурша лиловым платьем, прилегла на диван у окна. Становилось сумеречно.

– Тебе нужно замуж, – сказала вдруг генеральша иным, таинственным голосом. – Ты совсем поспела, как плод.

Сонечка молча наклонила голову, Степанида Ивановна раскрыла и закрыла кружевной веер.

– Я нашла тебе подходящего мужа, он красив. Хорошо иметь красивого мужа. Но нужно иметь каменное сердце...

Вспомнив, должно быть, старое, генеральша вытянулась на диване. Шелк ее платья засвистел под ногами. Сонечка знала, что нужно сказать во всяком случае что-нибудь, но не могла пошевелиться. За окном торможились воробьи перед сном. Попугай нежным голосом назвал себя по имени. Генеральша сказала:

– Мне писали из Рима, – святой отец занемог. Что?

– Я не знаю, – растерянно пробормотала Сонечка.

– Такое горе для христианского мира. Что?

– Да, бабушка...

– Это возвышенно – думать о Боге, мы все его дети... –

И генеральша начала болтать деревянным голосом чепуху. Это была ее манера – светский, по ее мнению, тон, который генерал терпеть не мог и называл – «лущить горох».

Но Сонечка не знала еще этой особенности за генеральшей и была изумлена, сбита с толку и отвечала невпопад.

В сумерках маленькая генеральша казалась восковой, с нарумяненными щеками, левой рукой она покачивала раскрытый веер, притворно улыбалась...

– Когда Апраксину дали ленту через плечо, он сказал моему мужу: «Помилуйте, генерал, я не заслужил ее, право, не заслужил»; он был очень мил в эту минуту.

«Почему лента? – думала Сонечка. – Почему болен римский папа? Почему молодой муж и каменное сердце?.. Должно быть, я действительно глупа».

– Что же ты молчишь, ты глуха? – опять иным голосом спросила генеральша.

– Нет, бабушка.

– Ты не ответила – хочешь ли замуж?

– Я постараюсь...

– Что постараюсь?..

– Я не знаю...



– Хорошо, ступай к себе. Я все решу за тебя. Я не зла тебе хочу, но счастья.

Притворив дверь спальни, Сонечка перекрестилась – слава Богу, обошлось! – и пошла к Алексею Алексеевичу в кабинет.

Алексей Алексеевич лежал на турецком диване, держа у рта длинную трубку. Над диваном, на ковре, было в порядке развешано всевозможное оружие – кольчуги, щиты, копья, ружья, сабли, пистолеты. На окне спущена парусиновая штора.

Сонечка вошла и улыбнулась. Генерал, подняв трубку, сказал:

– А я сейчас думал... Садись-ка рядом... А я сейчас думал и решил: наша русская сабля имеет преимущество против турецкого ятагана, вон видишь того – кривого.

Сонечка, аккуратно сложив руки на коленях, подняла на Алексея Алексеевича синие рассеянные глаза.

– У ятагана есть достоинства – он сам режет, саблю же надо тянуть при ударе к себе. Но зато я могу колоть, а ятаганом не уколешь.

Генерал встал с дивана и показал выпад и защиту тем и другим оружием.

– Поняла? Об этом-то я, мой друг, хочу написать статейку. Он сел опять, вытер лоб и, взяв Сонечкины руки в большие свои ладони, спросил ласково:

– Помирились с бабушкой?

– Помирились, – ответила Сонечка кротко. Генерал покрутил ус, ему хотелось до конца высказаться.

– Вот пример: еду я близ крепостной стены, и наскакивает на меня преогромный турок с кривым ятаганом. Я выстрелил, промахнулся. Он меня – ятаганом, я его – саблей; он – рубить, я – колоть. Что же думаешь – лошадь моя Султанка выручила, ухватила турка зубами за ногу, завизжал он, я в это время и проткнул его в живот.

– Вот ужас! – Сонечка вздрогнула. – Вам не было страшно?

– Страшно не было, но потом все чудилось, что я разрезал лимон.

Алексей Алексеевич, удовлетворенный, что исчерпал вопрос о саблях, похлопал Сонечкины руки.

– Ну, а теперь расскажи, как вы с бабушкой порешили. Сватала она тебя?

Глаза Сонечки испуганно раскрылись.

– Вы серьезно, дедушка? Но я не знаю, мне не хочется замуж.

Алексей Алексеевич привлек к себе ее светловолосую голову и говорил, поглаживая:

– Ты права, деточка, для тебя это очень серьезный шаг. И в этом и во всех движениях ты похожа на покойную Верочку. Бывало, она так же... Вспоминаешь и думаешь, – было нам хорошо. Мы нежно и свято любили. А знаешь, как

венчались?.. В деревенской церкви зимой. Все окна завалило снегом, и церковка дрожала, – такая разыгралась пурга. Потом у Ильи Леонтьевича, твоего отца, был пир, а вечером нас отправили на санках ко мне в имение. Верочкин сват, Степан Налымов – тучный был старик, – стал, по обычаю, на запятки и провожал нас все сорок верст в расстегнутой шубе, без шапки.

Алексей Алексеевич долго еще улыбался в густые усы, потом глаза его заволокло влагой.

– Тогда казалось – конца-края не хватит счастью, – ожидалось замечательное что-то в жизни. А жизнь прошла, и ничего замечательного не случилось. Так-то. Ходишь и думаешь: зачем вот ходишь. Книгу возьмешь – ну что, думаешь, я в ней прочту нового, – все равно помирать надо.

– Что вы, дедушка! – воскликнула Сонечка жалобно. – В какой вы меланхолии.

– В меланхолии, в меланхолии, – ты права. Делом мне надо заняться. Вот скоро поеду рожь продавать в город. Так нет же, Сонюрка, попляшу я на твоей свадьбе. Меланхолия у меня от сумерек. А мы ее побоку. Слушай, что бабушка-то придумала!

И он рассказал про план Степаниды Ивановны и про письмо.

– Понравится тебе Смольков – бери его в мужа, а не понравится – другого сыщем...

Сонечка ничего не сказала, только руки ее похолодели.

Она представила Смолькова своим всегдашним героем...

В дверь осторожно стукнули, вошел Афанасий и, доложив, что подан ужин, зажег на письменном столе четыре свечи, соединенные вместе зеленым колпачком.

Ужин благодаря теплоте времени был накрыт на каменной террасе. Степанида Ивановна уже сидела на длинном конце стола, жеманно облокотясь на кресло.

Два канделябра тихо оплывали от легкого дуновения ночи, и множество бабочек и жучков кружилось у света, падало на белую скатерть.

Генерал тотчас же, как только сел на свое место, засунул салфетку за воротник кителя и стал есть, весело поглядывая. В подливку упал жук, Алексей Алексеевич выловил его на край тарелки.

– Солдаты говорят: в походе и жук – мясо. А ты, Степанида Ивановна, ничего не ешь?

Генеральша действительно к еде не притрагивалась. Таинственная улыбка морщила тонкие ее губы.

– Если бы ты знал, что я знаю, то и ты бы тоже не ел, – проговорила она медленно и, поставив локоть на стол, затенила ладонью лицо от света...

– Что же такое случилось?

– Алексей, мы скоро будем иметь царское богатство...

Генерал выронил вилку, открыл рот. Афанасий, поставив в это время блюдо с картофелем, отошел к двери, внимательно слушая.

– Откуда же? – спросил, наконец, Алексей Алексеевич. – Откуда же? Разве кто-нибудь умер?

– Нет, Алексей, никто не умирал. Но я нашла клад гетмана Мазепы.

Генерал сейчас же опустил в тарелку длинные усы, старался скрыть ими улыбку. Но Степанида Ивановна все-таки заметила улыбочку, сверкнула глазами и вопреки данному себе слову рассказала о кладе все, что слышала и видела в монастыре...

– Ты понимаешь теперь, Алексей, – я должна купить Свиные Овражки.

– Но это безумие, – воскликнул генерал, – покупать никому не нужные Овражки!

– Это безумие так отвечать! – крикнула генеральша.

– Что? – спросил генерал, начиная хмуриться, но Сонечка взглянула на него умоляюще, и он поспешил прибавить: – Я понимаю, – ты пошутила, не будем ссориться...

– Я ничуть не шучу, – генеральша стукнула кулачком, – я должна иметь через две недели деньги для покупки. Ах, я знаю, – ты хочешь сделать меня нищей. Мало всех огорчений, которые ты мне доставил, ты вырываешь последнюю надежду.

Генерал качал пыхтеть, надуваться; быть бы ссоре, но Афанасий, почтительно наклонясь над Степанидой Ивановной, выждал многоточие в разговоре и сказал:

– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, все вер-

но, как вы изволите говорить...

– Что, как ты смеешь! – закричал генерал. – Пошел вон!..

– Оставь его, Алексей. Продолжай, Афанасий...

– Когда я еще, ваше превосходительство, мальчишкой в здешних местах бегал, находили мы на Свиных Овражках монеты. Изволите посмотреть.

Афанасий вынул из жилетного кармана старинный польский золотый и подал генеральше.

– Вот видишь, я всегда права! – воскликнула Степанида Ивановна. – Посмотри – тысяча семьсот третьего года. Спасибо, Афанасий.

Генерал сказал:

– Да, старинная. Странно!

Степанида Ивановна, воспользовавшись поворотом обстоятельств, начала мелко щебетать – «залушила горох». Передернула плечиками. «Ах, здесь сыро, на этом балконе!» И выпорхнула в дверь, поддерживаемая Афанасием под руку. Когда они ушли, генерал выпустил воздух из надутых щек: «Ерунда!» – и швырнул монету в сад.

Затем сунул руки в карманы тужурки и зашагал по веранде. Сонечка, сидя за самоваром, вглядывалась в свое изображение на изогнутой меди: подняла голову – и лоб ее вырос, сверху приставилась вторая голова; опустила – щеки раздалась вширь, лицо сплющилось.

– Никакого клада нет, одна, черт знает, глупость! – закричал Алексей Алексеевич, вдруг остановившись. – А денег

уйдет – фить! А попробуй я не дать денег – все перевернет, как Мамай!

Чертыхнувшись, генерал лягнул стул и ушел попытаться разговорить Степаниду Ивановну, пока она еще не окрепла в своем решении.

Сонечка долго сидела одна, глядя на зелененьких мошек, бабочек на скатерти, на карамору, повредившего ногу. Вздохнула, задула один из канделябров и вышла в темный сад.

В ее голове никак не укладывались разговоры и впечатления сегодняшнего дня, поэтому она и вздохнула, отгоняя недоступные ее разумению мысли. Ни звука не слышалось в липовой аллее, ни шелеста, только – шорох шагов по песку. Сквозь черную листву просвечивали звезды на безлунном небе. От запруженной реки Гнилопяты стлался по траве еле видный туман...

«Вот идет, – думала Сонечка, – девушка в темноте; на ней белое платье; в саду таинственно и тихо; у девушки опущены руки, и никого нет кругом; она одинока. Где же ее друг? Он не слышит! Вот скамейка. Девушка в белом садится и сжимает хрупкие пальцы. Ах, как пахнет резедой!»

Сонечка действительно села; смахнув с лица и с шеи прильнувшую паутину...

«Ночной холодок пробегает по спине; девушка в заброшенном саду. Она не слышит, что *он* уже близко; *он* в шляпе, надвинутой на глаза. *Его* шаги близко... В самом деле, кто-

то идет!» – испугалась Сонечка и прислушалась: от пруда по аллее кто-то шел, мягко ступая на всю ногу.

Шаги приближались. Испуганнее билось Сонечкино сердце, но в темноте нельзя было рассмотреть идущего.

Не убежать ли? Она повернулась. Под ногой хрустнула ветка. Тот, кто шел, спросил, остановясь:

– Во имя Господа Иисуса Христа дозвоьте женщине бесприютной ночь провести.

– Пожалуйста, – отвечала Сонечка, успокаиваясь. – Вы кто такая?

– А Павлина, – как будто изумясь, что ее не знают, ответила женщина и подошла ближе.

– Вы на богомолье идете?.

Павлина ответила не сразу, – протянула усталым, равнодушным голосом;

– Куда нам Богу молиться, не сподобилась. Брожу все. А вы кто будете, – барышня?

– Барышня...

– Степаниде Ивановне внучка?

– Вы пойдите на кухню, вас покормят...

– Пойду, пойду. Спаси вас Господь...

Но Павлина не двигалась. В просвет между ветвями стала видна ее обмотанная шалью огромная голова.

Сонечке было неловко сидеть молча, она встала, но Павлина вдруг подняла руку и кликушечьим высоким голосом заговорила нараспев:



– Чую дому сему великий достаток и веселье. Понаедут человеки, будут вино пить, песни петь, плясать, а одна голубка слезы прольет, да вспомнянется слово мое, аминь...

Сказав «аминь», поклонилась Павлина поясным поклоном и молча пропала в темноте; хрустнули кусты, затихли мягкие шаги.

Так в доме Степаниды Ивановны появился новый человек, решительно повлиявший на судьбу дальнейших событий.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Николай Николаевич Смольков лежал в смятой постели и долго старался сообразить, что было вчера.

Вчера было очень похоже на позавчера, а позавчера на третьего дня, но случилась какая-то, помимо обычного, неприятность, и Николай Николаевич застонал, чувствуя ломоту и тошноту, – во всем теле бродило еще шампанское, а во рту будто ночевал эскадрон.

В комнате от спущенных штор было темно, и только ночник, вделанный внутрь розовой раковины, слабо освещал край столика, окурки и увядшую розу в стакане.

«Вспомнить бы по порядку, – думал Николай Николаевич. – Встал я, надел коричневый костюм и этот галстук с горошком, поехал завтракать, нет, – сначала поехал к парикмахеру, потом завтракать, потом в манеж, нет, потом с визитом... Как же я в пиджаке с визитом поехал?.. Ах, да, к княгине... Вот что!..»

В волнении он приподнялся на локте, но винные пары опять ударили в голову, прервав последовательность мыслей. Уткнувшись в подушку, пролежал он довольно долго, потом позвал слабым голосом (до звонка трудно было дотянуть руку):

– Тит!

Никто не ответил... Николай Николаевич, пошарив, на-

шел портсигар, спички и закурил. Табачный дым еще пуще затуманил мысли, но потом все-таки прояснилось, и Николай Николаевич вспомнил о княгине, вспомнил все: как вчера, после годовой разлуки, встретил Муньку Варвара, как она обрадовалась, а он хотел удрать, но это не удалось, – не удрал. Как они обедали, потом катались, потом в «Самарканде» ужинали с цыганами; как пришли какие-то офицеры с пьяным англичанином, кричавшим почему-то «батюшки, матушки»; как на столе лежали Мунькины толстые ноги и так далее, и так далее... Цыгане, шампанское, Мунькины духи... Даже сейчас ими пахли руки... Но скверное случилось после, когда в два часа возвращались на автомобиле: на углу Кирочной поравнялась с ними карета, из окна выглянула сама княгиня Лиза и устроила такую гримасу, что... фу!.. фу!..

Николай Николаевич вытер мокрый лоб, привстал и крикнул:

– Тит, осел!

Вошел мрачный мальчик-грум, по имени Тит, отдернул, звеня кольцами, штору, и дневной свет залил небольшую низкую комнату, кровать из карельской березы и желтое, длинное, измятое лицо Николая Николаевича с коротко подстриженными усиками.

Николай Николаевич зажмурил глаза от боли. Тит захватил платье, ушел и вернулся, держа в руках поднос со стаканом крепкого кофе и яйцом в серебряной рюмке.

– Вчера я очень напился, Тит?

– Обыкновенно, – отвечал Тит, глядя в сторону.

– Все-таки сильнее, чем всегда?

– Пожалуй, сильнее.

– Знаешь, Тит, сколько вчера я выпил? – И Николай Николаевич принялся мечтательно перечислять сорта и марки выпитых им вчера вин.

– Вставать надо, – перебил Тит. – Французик сейчас придет.

– Сколько раз я запрещал тебе называть его французиком.

– Ладно уж...

– Дурак!.. Тит помолчал.

– Рубль тридцать копеек всего осталось вашего капитала, – сказал он, – больше нет! – И, наконец, посмотрел на барина. – Так-то.

Николай Николаевич поморщился. Действительно, денег больше не было, и трудно было, как всегда, доставать... Придется у Лизы просить или у дяди... Бросив окурочек на поднос, Николай Николаевич выпил кофе, потянулся и лениво спустил на коврик худые, в рыжих волосах, ноги.

– Тит, одень.

Тит надел барину гимнастическое трико на все тело, затянул живот ремнем и, поправляя кровать, сказал:

– Сегодня эта поутру приходила, толстогубая-то ваша, прошлогодняя.

– Ну! – воскликнул Николай Николаевич, с испугу садясь опять. – Что же ты?

– Ну, не пустил. Только она грозила обязательно еще прийти. Я, говорит, все у него в квартире перекрошу.

Смольков долго молчал, потом сказал уныло:

– Она так и сделает... Эх, Тит!

– Портной прибежал, я прогнал! Да еще этот вертлявый насчет векселя...

В прихожей позвонили. Тит пошел отпирать.

Плохо начинался сегодняшний день. Но между всеми неприятностями главная была та, что вчера ночью Николая Николаевича с публичной женщиной встретила княгиня Лиза.

Княгиня Лиза – троюродная Николаю Николаевичу тетка – являлась главной его опорой в жизни. В министерстве иностранных дел жалованье было ничтожное. Жизненные средства главным образом он добывал, переписывая векселя и посредством букиниста, которому продавал отцовскую библиотеку – диванами, по сорока рублей за диван, то есть накладывая на кожаный диванчик фолиантов сколько туда влезет. Но основой все-таки была княгиня Лиза.

Года два тому назад Николай Николаевич увлекся ею и зашел в изъяснении чувств так далеко, что княгине пришлось заняться спиритизмом, чтобы в потусторонних откровениях найти оправдание преступной любви.

Тогда завязалась у нее со Степанидой Ивановной – в то время яркой спириткой – переписка, в которой княгиня не открыла ни имени Смолькова, ни даже земного его проис-

хождения, но уверяла, что смущает ее некто, имя которому Эдип...

Имя это Степаниде Ивановне показалось странным, и она проверила его спиритическим сеансом два раза. Один раз вышло действительно Эдип, другой же – Един. Степанида Ивановна ответила княгине письмом, в котором просила Лизу остерегаться, так как Един и Эдип – не есть ли одно из имен Люцифера?

Странно было это имя и для Николая Николаевича, забывшего давно лицейский курс мифологии, но во время свиданий он все же стал называть себя Дипой, так же и подписывался в любовных записочках.

Ревновала княгиня Лиза своего любовника ужасно: не только не позволяла думать ни о ком, кроме себя, но, когда Николай Николаевич рассказывал о скачках или других невинных развлечениях, страшно сердилась, прося замолчать. Выходило, что у него – Смолькова – ни тела, ни телесных желаний нет, одна душа, и то не его.

Поэтому, вспоминая вчерашнюю встречу, морщился Николай Николаевич, мотал головой и повторял:

– Плохо, очень скверно.

В это время вошел профессор бокса – маленький француз m-r Loustaleau – и, сделав приветствие рукой, лягнул жирной ножкой: «Начнем!»

Николай Николаевич потянулся, зевая надел толстые перчатки и ткнул француза в лицо, на что тот сказал: «Очень

хорошо!» – и велел присесть три раза. Потом Смольков колотил кожаный шар, который отскакивая, пребольно ударял по голове; француз показал, как нужно лягать в живот, и Николай Николаевич лягал Лустало, дверь, позвал Тита и лягал Тита.

Наконец, взмокнув так, что щеки порозовели, сел он на кровать, отдуваясь, и Тит растер его тело мохнатым полотенцем. Француз, попросив денег, ушел. Тит подал умывальное, свежее белье, выглаженный костюм, галстуки, и Николай Николаевич, одетый, бодрый и почти веселый, вышел на подъезд. Швейцар подал письмо. Он узнал почерк княгини Лизы и, болезненно поморщившись, сунул письмо в карман.

Месячный извозчик на сером рысаке понес Николая Николаевича по Галерной, повернул направо вдоль Гвардейского экипажа и налево на Морскую, где, не спрашивая, остановился около парикмахерской.

Дома Николай Николаевич не причесывался, предоставляя делать это ловким рукам парикмахера – Жана, родом из Турции, имеющего сто двадцать секретов краски для волос. Жан во время работы рассказывал свежие новости, те, что прочел в газете, и те, что сообщали утренние посетители... Парикмахера этого Николай Николаевич звал «мой журнал» – и давал рубль на чай, сам иногда занимая у него небольшие суммы, как думал сделать и сегодня.

– Сегодня князь Тугушев заезжали, подстригали бакенбарды, – сообщил парикмахер. – Об вас спрашивали, – он

тонко улыбнулся. – Вчера князь тоже в «Самарканде» был.

Николай Николаевич обернулся к нему и нахмурился, но, вспомнив, что нужно перехватить денег, спросил беспечно:

– Ну что ж из этого?

– Много князь смеялись, говорили, что Варвар опять в ход пошла.

«Тугушев не преминет доложить обо всем Лизе, черт!» – подумал Николай Николаевич и завертелся на стуле.

Парикмахер, окончив туалет, сказал: «merci!» – и крикнул «мальшик!» бородатому человеку, стоявшему у дверей с метелкой... Расплатившись и дав рубль на чай, Николай Николаевич, уже одетый, поманил парикмахера пальцем в угол:

– Понимаете, мой друг, ужасно глупо, забыл деньги дома. Что?

Парикмахер сделал серьезное лицо, быстро сунул Николаю Николаевичу двадцать пять рублей, расшаркался и сам растворил дверь.

«Дурак, – подумал Николай Николаевич. – Завтра же ему отдам весь долг». Садясь на извозчика, он вскрыл письмо от княгини Лизы.

«M-r Smolkoff, – писала княгиня, – очень прошу Вас быть у меня сегодня между тремя и четырьмя. Княгиня Тугушева».

«Начинается, – подумал Николай Николаевич, – о Господи!»

– Дмитрий, на Литейный к князю!



Князь и княгиня Тугушевы занимали вдвоем двухэтажный особняк с таким количеством комнат, зал и галерей, что было необходимо приобрести особые привычки, чтобы наполнить собою пустой дом.

Поэтому у князя было пять кабинетов: в одном он принимал, в другом писал мемуары, в третьем ничего не делал, а два остальных были приготовлены на случай, если князь получит министерский портфель. Но правительство, к удивлению Тугушевых, не спешило дать ему портфеля.

Княгиня Лиза из всех огромных и пустых комнат особенно любила в глубине дома темный закоулок, где, входя, испытывала всегда некоторый страх.

Комната эта соединялась с остальным домом через узкий коридорчик и потайную дверь. Говорили, что там, лет сто назад, один гвардейский офицер, проникнув через тайник, убил старуху – владелицу дома – и ушел, никем не замеченный. Про эту старуху будто бы написали целую историю под названием «Пиковая дама», но княгиня брезговала русской литературой и не читала повести. Комната была обита кожей, уставлена старыми диванами и единственным окном из цветных стекол выходила в глухую стену.

В полумраке, никем не слышимая, принимала здесь княгиня Лиза своего любовника и занималась спиритизмом.

Ливрейный лакей доложил Смолькову, что княгиня в приемной, и пошел вперед, распахивая двери. Николай Николаевич бросил в глаз монокль, отличающий его как молодого

дипломата, сделал скучающее лицо и, втайне довольный, что объяснению помешают гости, вошел в зал, описывая букву S, как человек светский, воспитанный и желающий нравиться.

В глубине зала на невысоком помосте, покрытом сукном, сидели трое. Посредине – фрейлина и кавалерственная дама графиня Арчеева-Ульрихстам, родная сестра княгини Лизы, налево сидел князь Тугушев, слегка раскрыв рот и опустив чайного цвета длинные усы, направо, в низком кресле, княгиня Лиза восторженно глядела на сестру.

Все трое громкими голосами говорили о политике. Графиня Арчеева-Ульрихстам, очень толстая дама, глядя в лорнет, произносила очень громко:

– Я рекомендую *служить* царю-батюшке. Тот, кто не служит, есть враг своего отечества...

– Я согласен, надо служить и служить, – так же громко отвечал князь. – Но я спрашиваю – разве нельзя не служить, но быть полезным... Например, музыкант? – И князь раскрыл рот.

– Музыкант увеселяет общество, но не служит; кроме того, музыкант – артист, но дворянин не может быть артистом.

– Я бы мог служить, – сказал князь, – у меня есть государственный план, он таков: сначала нужно дать плетку, а потом реформу. Так поступил Петр Первый.

Столь торжественные и странные приемы князь и княгиня устраивали графине каждый раз, когда она заезжала на больших своих рысаках на несколько минут к сестре. Кня-

зю нужно было ее влияние, чтобы получить портфель или по крайней мере концессию на ловлю котиков в Тихом океане. На котиков он и намекал, отрицая службу, и жаловался, что русских обкрадывают на Дальнем Востоке. Графиня поняла и указала на входящего Николая Николаевича, как на племянника Ртищева, в руках которого было нужное князю дело.

– Котики, котики, графиня, – воскликнул Николай Николаевич, кланяясь, – эти животные стоят мне много крови.

Графиня поднялась.

– Ты уходишь! – жалобно воскликнула Лиза. – Приезжай, сестра, ты знаешь, как ты нам дорога.

И, привстав, она вся изогнулась, голову склонила набок и, словно в забытии, лепетала слова, прижимая к себе руку графини и отталкивая...

Графиня освободилась от сестры и вышла, сопровождаемая князем. Княгиня Лиза словно без сил опустилась в кресло, закрыла рукой глаза и после молчания простонала:

– Развратник!..

– Ради бога, Лиза, – в тоске пролепетал Николай Николаевич.

– Развратник, который обманывает на каждом шагу, ничтожный человек.

Но в это время вернулся князь, морща узкий свой лоб.

– У графини государственный ум, – сказал он. – Это дипломат и деятель. Я всегда был в ней уверен.

– Ах, – проговорила княгиня, – я ее обожаю...

– Да, m-г Смольков, – продолжал князь, – я все забываю, как называется эта проволочка, после которой я войду в свои права... Ну, вот эта – с котиками. Я решил энергично при-  
няться за котиков.

Опустив голову, он заморгал светлыми ресницами. Николай Николаевич стал объяснять дело.

– Николай Николаевич, я вас жду, – холодно сказала княгиня и вышла, кривляясь на ходу всем телом так, что едва не споткнулась о ковер. Выйдя за дверь, она схватилась рукой за грудь и прошептала: – Боже, дай мне силы перенести еще и этот удар! – понюхала кружевной платочек, надушенный густыми духами, вынула письмо Степаниды Ивановны о Смолькове и, стараясь не шуметь платьем, поспешно прошла через среднюю залу и зимний сад в темную комнату, – оставила приотворенной за собою дверь в красный коридорчик.

Волнение и гнев княгини происходили от двух причин: письма Степаниды Ивановны и вчерашней встречи.

Вчера, возвращаясь домой, она встретила Николая Николаевича с неприличной женщиной, у которой было лицо каторжанки, – ехали они в красном автомобиле. Княгиня рассердилась так, что не могла дышать, но потом цвет автомобиля навел ее на мысль, что не замешан ли тут один из злых духов, часто путавший ее во время спиритических сеансов: дух, очевидно, ревновал и, приняв личину того, кого люди называли Смольковым, захотел поссорить его с княгиней. Но

сегодняшние рассказы князя о «Самарканде» и еще письмо Степаниды Ивановны убедили ее, что на автомобиле ехал Николай Николаевич, что каторжница – его любовница и что сам Смольков не Эдип, а ничтожный обманщик, человек, как все: из мяса и костей, и притом развратник.

– Пусть женится, – шептала княгиня, десятый раз перечитывая письмо Степаниды Ивановны, – пусть плодит детей, обыкновенный, жалкий человек.

Услышав поспешные шаги Смолькова, она подняла молитвенно глаза и не пошевелилась, когда он вошел.

– Помолись о моем грешке, – прошептал Николай Николаевич, шаловливо присев на диван.

Лиза отодвинулась.

– Прочтите, – сказала она, подавая письмо.

Он сделал вид, что не замечает ее холодного тона, прочел письмо и засмеялся:

– Они хотят женить меня на этой Репьевой. Если бы они знали, Лиза...

– Вы женитесь.

– Я?.. Но я не собирался...

– Вы соберетесь, мой друг...

– Лиза, почему ты холодна?.. – Николай Николаевич надул губы, сделав вид шаловливого ребенка. – Не шути так, мне больно за нашу любовь...

– Нашей любви больше нет, мой друг... Бледные щеки княгини порозовели, серые ее глаза подернулись влагой, и

молодое еще в сумраке комнаты лицо, с неуловимым очертанием овала, осветилось словно изнутри...

Николай Николаевич в испуге отодвинулся.

– Грубые люди, – проговорила княгиня печально, – что им нужно – кусок хлеба и крепкий сон. Живите, я не из вашей породы.

«За что ты меня лишаешь всего?» – хотел сказать Николай Николаевич, но вместо этого сделал привычную при их свиданиях надутую гримасу и прошептал:

– Поцелуй Дипа...

Княгиня покачала головой.

– В моем поцелуе смертельный яд, а вам нужно жить...  
Встаньте! – воскликнула она, так как Николай Николаевич присел на ковер у ее ног.

– Лиза, я пошалил, прости...

– Я запрещаю, – шептала княгиня Лиза и, заплакав, откинулась назад, скользя руками по коже дивана...

Когда затем Николай Николаевич хотел подняться, Лиза удержала его голову в своих ладонях, нежно поцеловала в глаза и шепнула сквозь слезы:

– Милый мой мальчик, отдаю тебя чужим людям, так надо. Прощай!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Николай Николаевич, полагая, что Лиза простила ему грех, жестоко ошибся: княгиня не только не простила, но со странным упрямством настояла, чтобы Смольков тотчас ушел и более не возвращался, – словно несколько минут слабости только утвердили ее решение разорвать связь.

Отстранив Смолькова, княгиня подошла к потайной двери.

– Вы забыли запереть дверь, мой друг, – дрогнувшим голосом сказала она. – Нас могли слышать.

И она почти побежала вперед. Близ входа в оранжерею сидел князь, глядя на пол, и вяло трогал себя за длинные усы.

– Я показывала нашему другу комнату, где была убита старая графиня, – очень громко, повышенно проговорила Лиза.

Князь посмотрел на нее, на Николая Николаевича, но не в глаза, а пониже, и ничего не сказал и опять стал трогать усы холеными ногтями.

– Я еду сейчас к дяде, – сказал Николай Николаевич. – Я все узнаю относительно котиков и постараюсь устроить вам, князь, это дело. До свиданья. Княгиня, я ухожу, до свиданья...

Николай Николаевич ушел и, садясь на извозчика, подумал: «Вышвырнула, как котенка, дура мистическая».

– Эй, ты, – крикнул он кучеру, – на Итальянскую к Рти-

щеву.

Иван Семенович Ртищев, сановник, дородный, преклонных уже лет человек, похожий лицом на льва, сидя в розовом нижнем белье в вольтеровском кресле у пылающего камина, диктовал секретарю свои мемуары.

Занятие это было ответственное и тяжелое, так как, по мнению Ртищева, его мемуары должны были произвести впечатление землетрясения в дипломатическом мире. В мемуарах все было на острие. Острием был сам Иван Семенович, прошедший в свое время стаж от секретаря посольства до посланника. Европа была им изучена от дворцов до спален уличных девчонок. Но, несмотря на катастрофическую ответственность и острие, мемуары Ивана Семеновича сильно напоминали приключения Казановы, чему он весьма противился. Он даже отдал распоряжение секретарю – останавливать его каждый раз, когда он начнет сбиваться.

Иван Семенович запустил пальцы в бакенбарды, седые и еще роскошные, которые хорошо помнила Европа, и, покачивая туфлей в жару камина, говорил сочным, очень громким голосом:

– ...Дефевр передал запечатанный конверт барону Р...у. В тот же день барон выехал в Трувиль. Императрица купалась. В то время ее приближенной, ее доверенной, ее другом была девица Ламот. Стоило пересечь океан, чтобы взглянуть на купающуюся Ламот.



Секретарь кашлянул. Ртищев, сердито покосившись на него, продолжал вдохновенно;

– Грудь девицы Ламот напоминала два яблока. Точнее – две половинки разрезанного большого лимона. Грудь девицы Ламот заставила корсет того времени опуститься до талии.

– Иван Семенович, – сказал секретарь, – быть может, это мы опустим.

– Вы болван! – сказал Ртищев. – Грудь девицы Ламот стояла нам Севастополя... И так...

В это время вошел Смольков. Иван Семенович повернулся к нему всем грузным телом в кресле и глядел круглыми глазами. Смольков стал спиной к камину, раздвинул полы сюртука, чтобы согреть зад. Но Иван Семенович эти штуки с согреванием зада понимал насквозь.

– Ты зачем ко мне пришел? – спросил он, постукивая пальцем по креслу.

– По делу о котиках, дядя. Князь Тугушев просил меня навести справки. Он, кажется, не прочь сам взять концессию.

– Ты сколько у него взял?

Николай Николаевич поморщился. Иван Семенович сказал:

– Отойди от огня, у тебя зад дымится. Этому болвану Тугушеву скажи, что он болван. И денег я тебе не дам.

Николай Николаевич оглянулся на секретаря, пожал плечами, затем стал смотреть на свои башмаки.

– Дядюшка, вы сами не раз бывали в подобных обстоятельствах.

– Что?

– Я говорю, чертовски скучно – постоянное безденежье. Я чертовски ломаю голову. Весь расчет был перехватить у вас – до пятницы. Если нет – то чертовски...

– Хорошо, – сказал Иван Семенович и сейчас же протянул руку, чтобы племянник не кинулся к нему обнимать. – Хорошо. У тебя будут деньги. Я тебя женю.

– Дядюшка, я чертовски...

– Молчи. Я не могу содержать тебя и твоих любовниц. Мой бюджет шатается от твоих долгов, Я думал о тебе все это время. Черт возьми, у меня третий день изжога от этих забот. Ты должен жениться.

– Но я не хочу.

– Молчать!

Иван Семенович поднялся во весь огромный рост и блестяще развил мысль о предстоящей женитьбе Николая Николаевича, о всех преимуществах женатого человека. Говоря, он подталкивал племянника слегка к двери, затем обнял, больно прижав его нос, и Николай Николаевич очутился в прихожей.

Николай Николаевич стоял с минуту ошеломленный. Проворчал: «Вывернулся, старый мошенник!» Медленно сошел вниз, в голове – мутно, ноги подкашивались, и велел кучеру ехать, вообще – ехать! Черт!

Николай Николаевич все же перехватил в этот день небольшую сумму. Но ресторан поглотил и сумму и остаток энергии. Кучер шагом вез Николая Николаевича домой, на Галерную.

Дом на Галерной был старый, с темной прихожей, со скрипучим паркетом, со старомодной потертой мебелью. Большая часть комнат была закрыта.

Семья Смольковых, издавна жившая в этом мрачном доме, теперь частью вымерла, частью разбрелась по свету. И все эти ветхие диваны, темные картины, скрипучие полы наводили Николая Николаевича на грустные размышления. Дом очень походил на усыпальницу.

Николай Николаевич и сам понимал, что нужна бы ему обстановка, где не стыдно принять светскую женщину. Однажды в светлую минуту он заказал даже эскиз кокетливой мебели в модном магазине, но не было денег. Денег, денег, денег, все равно сколько, все равно откуда – только бы жить беспечно, а то хоть пулю в висок!

Так раздумывал Николай Николаевич, мрачно вылезая из пролетки у подъезда своего дома. Тит отомкнул дверь, молча принял трость, пальто и цилиндр и вдруг усмехнулся углом рта...

– Что? – спросил Николай Николаевич, – прошел в столовую и сел на стул. – Был кто-нибудь?..

– Что был! – ответил Тит насмешливо. – И сейчас в спаль-

не сидит!

– Кто? – Николай Николаевич испуганно приподнялся. – Она?

Тит кивнул головой. Николай Николаевич осторожно отодвинул стул и, шепча: «Скажи ей, что я уехал надолго», на цыпочках побежал в переднюю.

Но в это время дверь с треском раскрылась, и на пороге показалась коренастая рыжая молодая женщина в шляпе, с зонтом в руке.

– Ах, ты здесь? – воскликнул Николай Николаевич сладким голосом. – Как мило!

Густые брови Муньки Варвара, изломанные у висков, сошлись, ноздри короткого и тупого носа раздулись, и челюсть выдвинулась вперед, как у волкодава.

– Здесь! – протянула Мунька, и грудь ее колыхнулась. – И сундук мой здесь, жить приехала...

Николай Николаевич подвинулся к Титу и вдруг закричал:

– Вон из моего дома! Тит, гони ее в шею...

С прошлого еще года привыкла Мунька к характеру Смолькова, поэтому сейчас ни капли не испугалась, подняла зонт и ударила китайскую вазу, которая сейчас же разбилась...

– Не то еще будет, голубчик, – и Мунька проткнула зонтом картину... Затем разбила абажур, опрокинула ногою стол и остановилась, сверкая глазами. – Что? Видел?

Николай Николаевич во все время этих действий присмирел и сел на стул у двери. Тит подбирал осколки.

Характер у Муньки был решительный, такие сцены в прошлом году повторялись нередко, и Николай Николаевич, оберегая себя, обычно затихал, садился на стул в раскрывал зонт, уверяя, что идет дождик. На Муньку, как на первобытного человека, действовало это умиротворяюще, – она принималась хохотать, взявшись за живот. Но сегодня чувствовала, что Николай Николаевич не совсем в ее власти.

– Слушай, – сказала Мунька, – ты, мозгляк, с другой связался?

Николай Николаевич, не отвечая, топнул ногой.

– Что вы пристаете? – сказал Тит. – Мало вам набезобразничали!

– Я набезобразничала! Да я еще с ним разговариваю. – Она проворно вытащила булавки и швырнула шляпу на стол вместе с зонтом и жакетом. – Идиоты несчастные! Кончено! Остаюсь! – Она поправила волосы и села.

Николай Николаевич громко вздохнул...

– Тит, – сказала Мунька, – принеси сыру, фруктов и бутылку шампанского. Хлеба не забудь...

– Денег нет, – сказал Тит мрачно.

– Честное слово, один рубль остался, – Николай Николаевич радостно подскочил на стуле.

– В таком разе, колбасы купи и водки. Поедим и в кровать...

Тит не двигался. Мунька задышала сильно.

– Сходи, Тит, купи, – поспешно сказал Николай Николаевич.

Тит убежал. Мунька сообщила, что «тело тоскует, пойти корсет снять», и, шаркая башмаками, пошла в спальню. Николай Николаевич, облокотясь на колени и сложа руки ладонями вместе, сидел не шевелясь... Все на свете ополчилось против него. Господи, где же выход? Николай Николаевич одним глазом поглядывал на темную иконку в углу, не совсем уверенный, что бог поможет... «Жениться разве на самом деле? Сонечка Репьева, наверно, глупа, толста, влюбчива, – барышня из провинции. Очень, очень плохо».

Вернулся Тит с колбасой и водкой, вышла Мунька в розовом капоте, который все время запахивала, чтобы мальчишка задаром не глядел на ее прелести, и принялась за еду. Выпивала, крикала, ела колбасу, задрав ногу на колено.

Николай Николаевич глядел на Муньку, и к ненависти его примешивалось странное уважение перед силой девушки и здоровьем... «Жует вкусно и твердо, так что даже щекотно в скулах, и пища, наверно, отлично переваривается в желудке; ляжет в постель и тотчас заснет, жаркая, как печь, и будет видеть глупые сны, а наутро их расскажет... Но все-таки Мунька свинья», – подумал он.

В это время позвонили в прихожей... Тит побежал отворять и сейчас же вернулся; лицо у него было испуганное и отчаянно любопытное.

– Князь Тугушев! – сказал он вполголоса. Мунька весело подмигнула. Николай Николаевич кинулся к ней, шипя: «Уйди же, уйди», затем метнулся в прихожую. Мунька проворчала: «Вот еще, у князя глаза не лопнут на меня смотреть, не чужие, слава Богу...»

В прихожей, снимая перчатки, стоял князь. Руки он Николаю Николаевичу не подал, а, глядя на вешалку, сказал по-русски: «Мило, очень мило...»

То же самое он пробормотал, войдя в столовую... Николай Николаевич пододвинул стул, князь сел и слегка раскрыл рот...

– Здравствуйте, – обиженно сказала Мунька. – Не узнаете, что ли?

– Ах, это вы, крошка, я узнал. Очень мило! – Князь вынул серебряный портсигар, осторожно, как драгоценность, взял худыми пальцами папироску, но, спохватившись, положил обратно... Затем пробормотал невнятное.

– Что? – крайне предупредительно спросил Смольков, но князь, не глядя на него, показал портсигаром на Муньку.

– Нельзя ли нам одним?

Николай Николаевич сделал испуганно-сердитые глаза. Мунька пожала плечами и ушла в спальню.

– Я принужден... – сказал князь, одутловатые щеки его подпрыгнули, он закрыл глаза. – Одним словом, я все видел и слышал сегодня, я принужден бить вас по лицу.

При этом он слегка поклонился. Николай Николаевич

быстро поднялся, застегивая пуговицы, и стал смотреть на перстень на руке князя.

– Но это не все. Я принужден, но я этого не сделаю: я не хочу сплетен. Вы принуждены будете уехать и как можно скорее сделать что-нибудь, жениться, например, – этим вы спасете честь... честь... – Князь заикнулся и встал, все еще не открывая глаз. – Я вам напишу рекомендательное письмо...

Смольков поклонился. Князь открыл глаза, и бледный рот его пополз криво вбок.

– С этими котиками вы тоже мне устройте, услуга за услугу...

Николай Николаевич сделал жест, изображающий нетерпение и бешенство.

– Имею честь. Тит, проводи князя...

Князь боком вышел из комнаты, держа в отставленной руке цилиндр и трость, Николай Николаевич оторвал пуговицу и сказал:

– Сговорились они, что ли, черт возьми! Женись! Превосходно! Назло всем женюсь!

Он присел к столу и, сжимая виски, думал о себе, о княгине Лизе, о князе...

– Ох, да, Мунька, – вспомнил он и пошел в спальню.

Мунька лежала в прозрачной рубашке на кровати и, зевая до слез, рассматривала картинки во французском романе. Николай Николаевич взял книгу и швырнул ее под кро-



вать...

– Ты что? – спросила Мунька. – Князь ушел?

– Пошла вон отсюда! – заорал Николай Николаевич. – Я женюсь!

– Вот дурак, – равнодушно ответила она и повернулась спиной к Смолькову.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

По травяным межам к гнилопятскому гумну тянутся, скрипя и колыхаясь, телеги, полные снопов. На гладко убитом току гудит и пылит паровая молотилка. Бабы подхватывают снопы, летящие с телег, разрезают свясла серпами и подают задатчику. У него борода и волосы полны пыли, руки в голицах ходят вправо и влево, вдвигая в хрустящую пасть машины раскинутый полотном хлеб.

Барабан, пожирая колосья, глухо и ровно гудит: заторопится вдруг, когда задатчик, остановившись, отирает рукавом пот и грязь о лица своего, ухает от поданного вновь и, пережевав, переколотив, бросает в нутро молотилки солому, зерно и пыль.

Соломотряс дребезжит, подпрыгивая, выкидывает солому на убитый ток, девки гонят ее граблями, конный возильщик подхватывает ее доской и рысью едет к новому омету. Зерно бежит на железные грохота, просеивается сквозь сита и сыплется золотыми струйками в мешок. Соединенный вечно бегущим ремнём, попыхивает длинной трубой зеленый локомобиль, на колесах его и на меди блестит августовское солнце... Светит оно и на жеребят, со ржанием бегающих около возов, на пестрые рубахи и платки баб, на запачканные в дегтю шаровары веселых парней и в синие глаза Сонечки, приехавшей с Алексеем Алексеевичем на молотьбу.

Все – запах дегтя и хлебной пыли, заглушенные воем молотилки голоса, окрики и песни знакомы Сонечке давно. Вот подъехал конный возильщик, высокий парень, остановил лошадь и, вынув кисет, свертывает папироску; генерал погрозил ему пальцем: «Я тебя, пожар наделаешь!» Парень спрятал кисет и улыбнулся; лицо у него загорелое, чернобровое, ласковое. Сонечка подошла к нему и взяла вожжи: «Дай-ка, я поеду». Парень опять усмехнулся: «Не справитесь», и хлестнул лошадь, зацепив доской большую кучу свежей соломы. Сонечка стала на доску и взяла парня за ременный пояс. Солома нажала ей колени. Лошадь, влегая в хомут, поволокла и солому, и парня, и Сонечку... Девки смеялись, генерал кричал: «Смотри, не упади!» Когда доехали до омета, парень сказал: «Берегитесь, тут валко», – и въехал на вороха. Сонечка, не успев соскочить с доски, упала в солому, нечаянно увлекая за собой и парня, но он, хрустнув мускулами, поднялся, как стальной, спросил: «Что, не ушиблись?» – и, посмеиваясь, ушел за лошадей, широко расставляя ноги в синих штанах.

Сонечка осталась лежать в пахучей соломе. Опять подъехал парень и закивал ей головой, как бы говоря: «Как мы давеча-то опрокинулись», и все так же расставлял крепкие ноги, и она увидела, что он был необычайно красив собой, ласковой, о себе не знающей красотой.

Ей показалось, что все это уже было – вороха светложелтой соломы, бархатная травка около омета, парень и рыжая

лошадь в хомуте. Засвистел локомобиль, призывая рабочих к обеду. Гул молотилки замолк, и явственнее стали человеческие голоса. Народ, подбирая с земли одежду, шел к стану, где курился дымок под чугунным котлом.

Поднялась и Сонечка, оправила волосы и пошла на встречу Алексею Алексеевичу.

– Что же, попробуем каши, – сказал генерал, подмигнув.

Между бочкой с водой и телегой, полной печеного хлеба, сидели в два круга – бабы и мужики. Мужчины – на корточках или подсунув под себя кизяк или одежду – ели степенно, – сначала жижу, слитую с каши и сдобренную конопляным маслом, затем кашу, мятую с салом. Старший, царапая караваем по полушубку, резал хлеб большими ломтями.

Бабы сидели прямо на земле, подогнув одну ногу, вытянув другую, – как овцы. Каши бабы не кушали, – принесли с собой кто кислого молока, кто блинов, кто луковку. Порядка у них не было – тараторили, пересмеивались. Иная – девка – гляделась в круглое зеркальце, обитое жестью, подмазывала на лице, – чтобы не загорать, – белила, ядовитую мазь. Мужики с бабами обедать брезговали.

Генерал и Сонечка влезли на телегу, где стояла бочка с водой, полной инфузорий. Кашевар принес в небольшой чашке каши и два ломтя хлеба, густо посоленные. Сонечка стала искать глазами давешнего парня.

Он сидел на корточках и, держа ложку, медленно жевал, – крепкие желваки двигались на его загорелых скулах.

«Сильный и, наверно, добрый, – подумала Сонечка. – Счастлива будет девушка, которая выйдет за него замуж. Кого он любит? Вон ту, что отвернулась? Вот ту, с зеркальцем, сероглазую?»

Сонечка внезапно встретилась глазами с парнем, усмехнулась и сейчас же покраснела. Он, как и давеча, радостно закивал ей головой: «Хорошо, мол, опрокинулись...» Сонечка откусила от ломтя и нагнулась над чашкой с кашей.

– А вон и бабушка едет за нами, – сказал генерал. – А у меня, знаешь, от каши изжога началась...

Сонечка взглянула на дорогу: оставляя за собой пыльное облако, быстро приближалась коляска с покачивающимся над ней красным зонтиком Степаниды Ивановны.

– Бабушка не одна, – сказала Сонечка, – с ней кто-то в белом.

Генерал, защитив глаза ладонью, всматривался.

После примирения с женой, написав письмо княгине, Алексей Алексеевич, по совести говоря, забыл о предполагающемся приезде Смолькова и обо всем, что должно было за этим последовать. Казалось невероятно, чтобы взрослый человек прискакал за тысячу верст из-за каприза старой женщины, да еще и жениться.

Но теперь, разглядывая длинное и бледное лицо Николая Николаевича, с выдавшейся вперед нижней губой, почувствовал генерал все, что скажет этот жених, все фальшивые, трескучие, петербургские слова, нужные одной только

Степаниде Ивановне, и удивлялся: как это так все вышло? И смутился, не отвечая Сонечке на вопрос: кто же едет?..

«Эге, – подумал он, – мы еще посмотрим, как она выйдет за вас замуж... Погоди, Степочка, отбрею я твоего жениха». И генерал, расхрабрясь, сказал:

– По-моему, с ней Смольков...

– Смольков? – И Сонечка вдруг залилась румянцем.

Коляска остановилась. Николай Николаевич, одетый весь в белую фланель, вылез из экипажа и с учтивостью помог вылезть генеральше.

Степанида Ивановна улыбнулась и, тряся головой (что, к ужасу ее, начало делаться при встрече с молодыми людьми), подняла зонтик, ступила на землю и распустила по соломе шлейф. Генерал, подбоченясь, стоял около бочки, ожидая кривляний со стороны генеральши, но она, подойдя со Смольковым, просто представила его. Николай Николаевич выставил перед собой руку лопаткой, кланяясь, как опереточный пейзаж. Генерал даже попятился, но генеральша так посмотрела на мужа, что пришлось любезно ответить на поклон.

«Ах ты, черт, вот так – пейзаж», – подумал Алексей Алексеевич. Сонечку кинуло в жар, похолодели руки, она присела, как девчонка, – «макнула свечку», не поднимая глаз. Не подняла она их и тогда, когда Смольков, задержав ее руку в своей, сказал бархатным голосом:

– Как мил на вас деревенский костюм. Вы, должно быть,

работали, я помешал. Я тоже хочу надеть национальный костюм и буду граблить сено.

«Какой у меня деревенский костюм? – растерянно подумала Сонечка. – Что он говорит? Граблить сено? Какое же это сено? – рожь».

Она чуть подняла глаза и увидела сначала пиджак Николая Николаевича, из такой же материи, как ее парадная юбка – фланель в полоску, потом красный галстук с цветочками и булавкой, потом высокий, так что нельзя двигать шейей, накрахмаленный воротник и гладко выбритый подбородок. Выше Сонечка не решилась смотреть и потупилась.

– Очаровательно, – продолжал Смольков. – Работающие крестьяне. Я этого никогда не видал...

– Да! Знаете ли, работают, – басом вдруг сказал генерал и начал было выкатывать глаза на Смолькова, но Степанида Ивановна поспешно проговорила:

– Господа, едем, у нас сегодня ботвинья. Но будете ли вы кушать ботвинью, m-г Смольков?.. Ах, Петербург! Ах, большой свет!.. А мы здесь совсем опростились... Мы чернозем... Не правда ли, что?.. Ах, нужно привыкать, привыкать к простоте.

«Что это с ней? – подумал генерал, подходя к коляске. – Что-то новое. Однако этот ферт развязен».

Смольков и Сонечка сели на переднюю скамью, напротив генерала и генеральши. Коляска покатила по мягкой дороге. На повороте, около омета, Сонечка увидела давешнего пар-

ня, – он стоял с вилами и серьезно глядел на удаляющийся экипаж... Она быстро отвернулась, стала рассматривать загорелые свои руки.

«Ручищи исцарапаны, ну и пусть!»

Николай Николаевич, обращаясь ко всем троем, рассказывал, что представлял себе раньше сельское хозяйство сохой, за которой идет мужик, а помещик стоит подле на горке, крестится и молит Бога послать дождь. «Я так и думал. Что?» И он захохотал деревянным смехом.

Генерал задышал было, но генеральша больно нажала ему каблуком на сапог.

После хозяйственного разговора Смольков перескочил на восхищение природой и продекламировал небольшое французское стихотворение. Затем спросил, знает ли генеральша Собакиных, и рассказал множество новостей о Собакиных.

Алексею Алексеевичу очень захотелось спросить про генерала Собакина, но он не хотел раскрывать рта. Смольков же, как нарочно, говорил только о знакомых Собакина и перешел было к анекдотам. Тогда генерал, надвинув огромный козырек фуражки на глаза, воскликнул:

– Сотоварищ мой, генерал Собакин, умер, жаль!

– Что вы, и не думал! – обрадовался Смольков – и рассказал и о Собакине и еще о десяти по крайней мере генералах.

Подъехали к дому, все взошли на крыльцо. Николай Николаевич снял шляпу и, сделав постное лицо, сказал:

– Со свиданьем, генерал! – и полез троекратно цело-



ваться, чему Алексей Алексеевич был несказанно удивлен, но и на этот раз покорился.

Сегодняшний приезд Смолькова застал Степаниду Ивановну врасплох.

Афанасий встретил Николая Николаевича в одной рубахе – распояской, в сенях мыли полы, а сама генеральша, думая, что приехали из монастыря, вышла на крыльцо в утреннем неглиже.

Словом, ни в чем не удалось выдержать светского тона, который Степанида Ивановна хотела сразу же установить со Смольковым, и, зная, что исправлять ошибки было бы смешно, поспешила представиться опростившейся помещицей. Она прослезилась, когда Николай Николаевич, войдя в дом, стал истово креститься в пустой угол и поклонился в пояс, говоря:

– Я русский человек и люблю все русское.

Поэтому она и повезла немедленно же Смолькова на гумно и всю дорогу говорила о хозяйстве. Николай Николаевич, ожидая найти две старые песочницы, нащупывал теперь подходящий тон, потому что оказалось, в деревне не кланяются друг другу в ноги, не носят на шее образов и не мажут голову коровьим маслом.

Обед еще не был готов. Генеральша, поведя всех в гостиную, начала легкий разговор... Николай Николаевич положил на колено ногу, обхватил ее у щиколотки и сделал мно-

жество остроумных замечаний, но, видя, что генерал все еще хмурится, сказал со вздохом:

– Вы меня простите за болтовню, генерал, я болтаю, как ягненок.

– Гм, – сказал Алексей Алексеевич, – пожалуй, болтайте...

Николай Николаевич поднял брови. В это время Афанасий, натянувший нитяные перчатки и серую куртку, доложил: «Кушать подано».

Степанида Ивановна взяла Смолькова под руку и повела в столовую. Стол был накрыт старым серебром и цветами. Генеральша извинилась за простоту. Смольков, прежде чем сесть, размашисто перекрестился.

– Люблю русский обычай.

Сонечка взглянула на генерала, Алексей Алексеевич толкнул ее коленом и вдруг, откинувшись на спинку стула, захохотал, тряся животом стол.

– Что, что? – спросила Степанида Ивановна, бледнея, и поспешно обратилась к Смолькову: – У нас простые обычаи, мы смеемся и плачем, когда хотим...

Все же Николай Николаевич насторожился, – очень не понравился ему генеральский смех.

Сонечка еле притрагивалась к еде. Украдкой, но внимательно следила она за всеми переменами Смолькова. То смешным он ей казался, то слишком сложным. И все время она теряла ту легкую нить, по которой сущность одного че-

ловека переходит в сердце другого. Генеральша делала сердитые глаза, приказывая разговаривать. Сонечка хотела быть послушной, но не могла преодолеть застенчивости. Николай Николаевич решил пока не запугивать «захолустного птенца» и довольствовался краткими ее ответами. От хорошего вина и еды он повеселел и насмешил даже генерала. Степанида Ивановна была в восторге.

После обеда Смольков поцеловал ручку генеральши и вдруг, рассеянно подойдя с портсигаром в руках к Алексею Алексеевичу, воскликнул:

– Теперь после еды и на боковую, генерал?

– Да, уж вы меня извините, – и Алексей Алексеевич, рассердясь, бросил салфетку и ушел...

Генеральша нагнала его в коридоре, – Алексей Алексеевич лениво брел, ведя пальцем по обоям, – и зашептала, держа его за рукав:

– Ты, кажется, намерен известить меня своими замечаниями!

– Степочка, он дурак, – сказал генерал. – Неужели ты не видишь? Капитальный болван.

– Да, да, он жених Софьи, и прошу тебя в мои дела не вмешиваться. Понял?..

– Понял, – ответил генерал и рассердился. – Делайте, что хотите, только, пожалуйста, чтобы он не лез ко мне со своей рожей целоваться и все там прочее-Генеральша вернулась в столовую и, взяв Николая Николаевича под руку, повела к

себе.

Сонечка осталась стоять у окна, глядя перед собой пустыми глазами.

«Боже, что-то будет?»»

# ГЛАВА ВОСЬМАЯ

– Вот мое скромное убежище, – сказала Степанида Ивановна, введя Смолькова в спальню. – Здесь я вспоминаю друзей, гляжу на их портреты, думаю о прошлом...

Она полулегла на канapé, прикрыв платьем ноги. Николай Николаевич оглянул комнату.

На стенах висело множество портретов и миниатюр, среди которых он многих узнал. На шифоньерках и бюро стояли всевозможные шкатулочки и безделушки, трогательные воспоминания. Столы, кресла и диваны были старые, с потемневшей бронзой, хранящие за обивкой засунутое когда-то письмо или платок.

– Все это напоминает кабинет моей покойной матушки, – сказал Николай Николаевич, моргнув ресницами, и склонился к руке генеральши.

– Рассказывайте, рассказывайте, – томно прошептала она, – что вам передала Лиза? Как вы надумали сюда приехать?..

– Я не посмел послушаться ваших приказаний.

– Значит, вы читали письмо?

– Да.

Генеральша помолчала.

– Это мой друг и собеседник, – вдруг сказала она, показывая на попугая. – Попочка, скажи «здравствуйте». Он спит,

бедный... Я очень рада, Николай Николаевич, что здесь вам нравится, я боялась – вы будете скучать. Как вы нашли Sophie?..

– Она очаровательна...

– Правда? Милое дитя и совсем наивна. Ее отец, Илья Леонтьевич, прекрасный воспитатель, и хотя не богат, но дает за дочерью имение по банковской описи в тридцать тысяч.

При этих словах Степанида Ивановна искоса поглядела на Смолькова; он же, заметив ее взгляд, сделал слегка оскорбленное лицо. Генеральша продолжала:

– Я люблю ясность, мой друг. Любовь в шалаше – это для греков, но мы привыкли пользоваться комфортом... Что?

Смольков сделал жест, говорящий: «Увы, мы не греки!» Генеральша приподнялась немного и, положив кончики пальцев на руку Николая Николаевича, взглянула пронизательно.

– Мы старые друзья, не правда ли? Будьте со мной откровенны...

– Степанида Ивановна, – воскликнул Смольков глухим голосом, – я приехал просить руки Софьи Ильиничны, но я не уверен...

Генеральша облегченно вздохнула.

– Я так за нее боюсь, она молода, но я люблю вас, милый друг, и верю. Ах, ах! – Она подняла к глазам платочек. – Любите ее, она ангел! Вы не поверите, как женщина чувствительна к ласке, семья – вот ее жизнь, а Соня...

Генеральша уже нюхала соль. Николай Николаевич, тоже растроганный, объяснял, как страстно жаждет он домашнего очага...

В это время Люба принесла кофе и, нагнувшись, прошептала что-то Степаниде Ивановне. Генеральша улыбнулась:

– Я хочу показать вам замечательную женщину... Люба, велите ей войти... О том, что мы говорили, пока ни слова, постарайтесь увлечь девушку, а ваше сердце, я уверена, тотчас же будет в плену. Теперь об этой женщине... Ее послал ко мне бог, внезапно, когда я сомневалась во всем... Она появилась ночью, вошла ко мне, поклонилась в ноги и сказала: «Мать, купи Свиные Овражки...» (Я вас посвящу в мое дело...) И представьте, на следующий день приезжает игуменья и предлагает Овражки за десять тысяч. Я немедленно совершила купчую... – В это время дверь поскребли ногтем. – Вот и она. Здравствуй, Павлина. Как ты спала?

Николай Николаевич был крайне изумлен, глядя на просунувшееся в дверь рябое, ухмыляющееся, похожее на спелую тыкву, курносое лицо; затем появилась и вся баба, в теплом платке и в ряске, перепоясанной фартуком. Губы у бабы были такие толстые, словно только что она поела киселя с молоком. Павлина прокралась вдоль стены к Степаниде Ивановне, поцеловала ее ножку и села на ковер.

– Спала я, кормилица моя, как в раю ангелы спят: на одно крылышко лягут, другим покроются, а голову в перышки спрячут, – так и я спала.

После этих слов Павлина уставилась совершенно круглыми глазами на Николая Николаевича.

– Здравствуйте, – сказал он и поглядел на генеральшу, которая, касаясь плеча бабы, спросила:

– Знаешь, кто приехал?

– Жених, – сказала Павлина быстро. – Хватило бы на семерых, а одной достался. Великий муж...

– Откуда вы меня знаете?

– А я всех знаю.

– Она феномен, – сказала генеральша.

– Женись, женись, – продолжала Павлина. – Сон я про тебя видела. Ох, лютой сон! Ох, мать моя, муж мне предстал, акурат на него схожий, весь огненный, силищи мужской нечеловеческой, – так я с постели и покатила без памяти.

– Это чертовски странно! – сказал Смольков. Обрадованная генеральша сделала – значительные глаза.

– Она умна – и предвидит многое. Вы ей понравились, – это хороший знак. А теперь идите в сад и разыщите вашу погубительницу. – Когда Смольков был уже у дверей, она громко прошептала: – У него крылья на ногах.

Смольков ушел. Генеральша нагнулась к бабе.

– Ну, что – каков жених, Павлинушка?

– Жеребец, мать моя. Ты не смотри, что он тощий, – в таких жил много.

– Какие ты глупости говоришь! – Генеральша закрыла гла-



за и принялась смеяться, тряслась всем телом. Вытерла глаза. – Ох, Павлинушка, – только бы женился.

– Женится, лопни глаза. От сладкого еще никто не отказывался. А ты вот что послушай. – Павлина потянула генеральшу за рукав. – Жениха осмотреть надо. Может, он порченый или у него где-нибудь недочет? Я тебя научу: как ему спать ложиться, – напушу я в его постель блох. Ляжет он. Вскочит. Рубашку с себя сорвет, – тогда ты и гляди. Все увидишь.

Степанида Ивановна взглянула на бабу. Всплеснула руками и долго и много смеялась. У ног ее хихикала Павлина.

Сонечка шла любимой липовой аллеей, добегающей до пруда, и повторяла в уме все слова, сказанные Смольковым. Этот человек страшил ее и привлекал тем, что был совсем непонятен. Словами, движениями, всей внешностью он замутил Сонечкин покой, как камень, брошенный в пруд.

Сонечка дошла до пруда и глядела на тихую воду. На ней плавали листочки ветел, как лодочки, бегали паучки, в глубине плавали головастики, – поднимаясь, касались поверхности щекотным ртом. Летали сцепившиеся коромысла, – сели на камыш, качнулись, опять засверкали – полетели. Из-под ног Сонечки шлепнулась в пруд лягушка, – и пошли круги, колебля листы, паучков и водоросли. . . Вдруг мыслями ее нечаянно завладел другой образ.

«Конечно, он нечаянно меня толкнул. Хотя чересчур уж

смел. – Она начала краснеть, уши ее стали пунцовыми. Она сломала ветку и ударила себя по щекам. – Скверно не он, а я поступила, – конечно, не нужно было ехать на возилке, и потом так неловко упала... Фу, как нехорошо!.. Дался же мне этот парень».

Сонечка бросила веткой в коромысло.

По берегам пруда росли старые серебряные плакучие ветлы, шумливо кидающие ветви свои во время непогоды; теперь они свесили их лениво. Из тени на зацветшую воду выплывал выводок уток, оставляя позади борозды, словно скользя в зыбком мху. Грачи неумолчно кричали над гнездами.

«А этот здесь ничего не поймет, – думала Сонечка. – Граблить сено. Никогда ему не скажу, как люблю все это. – Она обвела глазами пруд, мостки, плакучие ветлы. – Может быть, он увидит все это и станет *моим*? Нет, у *моего* черные глаза, черные кудри, он много думает, на него можно молиться. И вдруг взять и сказать: я вас не люблю, выйду за того, кого люблю».

Сонечка вздохнула:

«Господи, до чего я глупа! Смольков даже и не подумает делать предложение. Вот, скажет, провинциальная барышня, только глаза тарашит...»

Сонечка заложила руки за спину (привычку эту переняла от отца) и пошла назад по аллее. Мысли ее были противоречивые, и все время три человека – герой мечтаний, сего-

дняшний красавец парень и Николай Николаевич – вставали перед глазами, то порознь, то сливаясь в одного, нависающего над ее фантазией.

Но о Смолькове проще было думать – он был дозволен и доступен. Понемногу с остальных перенесла Сонечка все идеальные качества на Смолькова. И когда живой Николай Николаевич явился в пятнистой от солнца аллее и, морща губы, приподнял соломенную шляпочку, она не узнала его и остановилась, затрепетав ресницами.

– Здесь очаровательно, – сказал Смольков. – Мне давно хотелось пожить в старом дворянском гнезде, – очаровательно!

«Такие парниковые огурцы бывают», – подумала Сонечка.

Смольков дотронулся до ее руки, заглянул в глаза и что-то говорил слегка надтреснутым, точно непрспаным голосом, – до Сонечки доходили лишь отдельные слова, которым она придавала *свое* значение...

– Я помешал вашей прогулке, Софья Ильинична, вы мечтали?..

«Как это мне можно помешать? – дивилась она. – Да от вечай же ему, дура!..»

– Я всю жизнь мечтал ходить по парку рядом с любимым существом, но жизнь, Софья Ильинична, тяжелая вещь...

«Так вот что, он несчастный». – И сердце Сонечки вдруг стало мягче.

Они дошли до пруда.

– Какая роскошь! – воскликнул Смольков. – Здесь есть лодка? Мы покатаемся, и вы споете? Да?

– Нет, – ответила Сонечка, – лодка есть, только гнилая.

– Жаль, – Смольков сел на пень, прищурился и охватил колено. – Я хотел, чтобы вы были со мной откровенны...

– Зачем?

Смольков сказал: «Гм!» – и слегка покачивался на пне, щурился на сияющую воду. У него были изумительные шелковые носки, изумительная рубашка, изумительный галстук. Глаза, конечно, не те, и нос – слишком велик... Но все же... Сонечка даже приоткрыла ротик – так внимательно вглядывалась. Вдруг Смольков чихнул, поднял коленку и добродушно засмеялся.

– А вы не глядите на солнышко, – сказала Сонечка, – а то опять чихнете...

– Великолепно! Я буду глядеть на вас. Можно? Вы будете мое маленькое солнце, даже лучше солнца, потому что я не буду чихать. Что? – Он, смеясь, взял ее руку...

«К чему ведет?.. Знаю, к чему ведет – отчаянно стараясь не краснеть, думала Сонечка. – Сейчас скажет: прошу вашей руки... Господи, помоги...»

– Софья Ильинична, мне нужно маленькое солнце, нежная, девичья привязанность...

«Началось... Сейчас убегу...»

– Софья Ильинична, прикосновение невинной руки целит мою измученную душу. Я одинок, я устал... Я много жил,

но люди оставили во мне лишь горе... К чему я стремлюсь: чистые взгляды, невинные речи... Природа... Голубые, голубые, ваши глаза... Серебристый смех... Боже, Боже... Я знаю – между нами пропасть... Вы никогда не сможете мне дать эту милостыню – девичью дружбу...

Все же его пальцы все выше пробирались по ее руке. У Сонечки звенело в голове. Она несколько раз глотнула. Ничего уже не было видно – ни пруда, ни ветел, ни ленивых белых облаков за рощей... Она упорно глядела на красные искорки на галстуке Николая Николаевича... И так ничего ему не ответила на все слова, – в жизни еще не было у нее такой застенчивости... Когда Николай Николаевич отпустил, наконец, ее руку, она стала пятиться и ушла не сразу, и ушла не так, вообще, как люди ходят, а как-то даже подскакивая... Николай Николаевич сдвинул шляпу на затылок, закурил папироску. «Глупа на редкость, – подумал он, – глупа, но мила, очень, очень мила. Гм... Но – глупа... И чертовски мила».

Сонечка пришла к себе, упала на постель, обхватила подушку и лежала долго, как мертвая. Затем быстро села на кровати, запустила пальцы в волосы – все, что произошло у пруда, перебрала в памяти, – точно ножом себя царапала, – когда же вспомнила, как уходила вприпрыжку, легла опять ничком и заплакала, кусая губы.

Когда Сонечка наревелась и в соленых слезах выплакала острый стыд и свою застенчивость, когда полегче стало ненавидеть себя и Смолькова, – овладело ею мрачное настроение.

«Про любовь в романах пишут, да еще такие дуры, как я, о ней мечтают. А в жизни никакой любви нет. Замуж выйдут потому, что нужно, или потому, что уважают человека. Любовь приходит после брака в виде преданности мужу. Да, да. Любовь до брака – вредная страсть. Поменьше о себе думай, очень спесива. Можешь дать человеку счастье в жизни – вот тебе и награда. Все равно – под холмик ляжешь, в землю, под деревцо... Не очень-то распрыгивайся, мать моя...»

Мрачно прошел для Сонечки этот день. Она ходила к полднику и к ужину. Старалась не встречаться глазами со Смольковым. Он был весел, острил, рассказывал анекдоты из военной жизни. Генеральша мелко, не переставая, смеялась. Генерал тоже похохатывал...

Сонечка сослалась на головную боль и ушла наверх. Поглядела в последний раз на себя в зеркало, подумала: «Тоже рожа», с горьким вздохом разделась и, вытянувшись в прохладной постели, раскрыла глаза в темноту.

В полночь в дверь постучали. Сонечка похолодела и не ответила. Дверь без скрипа приотворилась, и вошла Степанида Ивановна в ночной кофте и в рогатом чепце. Лицо у нее было странное, точно густо, густо напудренное. Ротик кривился. Свеча прыгала в сухоньком кулачке. Генеральша подошла к постели, осветила приподнявшуюся с подушек Сонечку и громким шепотом спросила:

– Замуж хочешь?

Лицо у генеральши было, как у мертвеца, глаза закатывались, сухой ротик с трудом выпускал слова.

– Замуж хочется тебе? – переспросила она, и пальчики ее вцепились в плечо Сонечки. Она откинулась к стене, пролепетала:

– Бабушка, что вы, я боюсь.

– Слушай, – генеральша наклонилась к уху девушки, – я сейчас смотрела на него, он всю рубашку на себе изорвал в клочки.

– Что вы? О чем? Кто рубашку изорвал?

– Смольков. Павлина так устроила, придумала... Он настоящий мужчина. Софочка, я давно не видала таких... Будешь с ним счастлива.

И генеральша, внезапно обняв девушку за плечи, принялась рассказывать о том, что считала необходимым передать девушке, готовящейся стать женой. Говорила она с подробностями, трясла рогатым чепцом, перебирала пальцами. Угловатая, рогатая ее тень на стене качалась, кланялась, вздрагивала.

Сонечка не пропустила ни звука из ее слов и, внимая, чувствовала, что проваливается в какой-то бездонный стыд и ужас...

– Больно это и грешно, – шептала генеральша. – Самый страшный грех на свете – любовь, потому ее так и хотят, умирают, и хотят, и в гробу нет покоя человеку...

Долго еще бормотала Степанида Ивановна, под конец со-

всем несвязное, и не замечала, что Сонечка уже лежала ничком, не двигаясь. Тронув холодное лицо девушки, генеральша пронзительно вскрикнула и принялась звонить в колокольчик.



## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Дней через пять Павлина увидела сон первой важности. Сны видела Павлина часто, на все случаи жизни, сама по себе и по приказанию Степаниды Ивановны.

Но эта особенность не была прирожденной, а накатила на нее после одного случая с офицерами. До того жила она при монастыре и за свое безобразие исполняла должность привратницы.

– Через тебя, сестра, и дьявол не перескочит, – говорила ей мать Голендуха и спала спокойно. Павлина обитала в кельеке у ворот, стучала по ночам гвоздем в чугунную доску.

В то время в монастыре жила чернобровая веселая монашенка, за свое пение прозванная «дудка-веселуха», имела она обязанность ухаживать за мирянами, приезжавшими во время праздников. Однажды заехали в монастырь бывшие в тех местах два офицера. Понравилась ли им тихая обитель, засыпанная снегом, или напугал буран, но только они остались ночевать в пустой кельеке. Увидели чернобровую сестру «дудку-веселуху», влюбились и решили ее увезти... Час побега назначен был под крещенский сочельник, когда бесовское племя так и шмыгает по всем заповедным местам и монашенки запираются по кельям, шепча со страхом отговорные молитвы. Приготовили офицеры коней и возок, но мать Голендуха все это пронюхала, допытала красавицу и с

утра заперла ее на ключ.

Ничего не ведая, прискакали на тройке офицеры в назначенный час и постучали замочным кольцом, ожидая, что, по уговору, выйдет к ним чернобровая красавица. Действительно, ворота приоткрылись, и просунулась закутанная голова Павлины, вглядываясь – кого бог послал в такую темную ночь?

– Садись! Живей! Ходу! – крикнули офицеры, схватили привратницу, положили на возок; один вскочил рядом с ящиком, другой застегнул полость, и помчались.

Павлина молчала. Кровь у офицера военная, не теряя времени, обнял он Павлину и, ободренный ее молчанием, не посмотрел ни на возок, ни на зимнее время. Павлина и тут смолчала. Офицер удивился.

– Хорошо ли, – спрашивает, – тебе, душенька?

– Хорошо, – ответила ему Павлина медвежьим голосом.

Офицер сейчас же зажег спичку и, увидя перед собой лицо привратницы, вскрикнул не своим голосом и на всем ходу выкинул Павлину из саней в снег. Так она и осталась лежать в снегу у дороги, пока на рассвете не прибежали монашеники... Обступили они Павлину и спрашивают:

– Что с тобой, милая?

– Бес меня искушал.

– Какой бес?

– В огненном образе.

– Что же ты не кричала, голос не подала?..

– И, милые, не всякий день бес искушает, а этот был со шпорами.

Больше ничего и не добились от глупой привратницы. Села она опять у ворот, но глянула на дорогу и затосковала.

– Уйду я, мать игуменья, пускай *беса* из меня лютыми ветрами выдует.

Собрала Павлина котомку и пошла по лютым ветрам, надеясь втайне – не встретит ли опять двух бесов?

И с той поры начала видеть всевозможные сны.

Бродила Павлина три года, питаюсь подаванием. Иногда заживалась у помещиков, у вдовых купчих. Иногда возвращалась в монастырь, исполняла в миру кое-какие поручения матери Голендухи.

Так попала она к Степаниде Ивановне и теперь видела сны о Свиных Овражках.

Степанида Ивановна, наладив сватовство и приведя Сонечку в крайнее возбуждение, написала Репьеву о предстоящей свадьбе и теперь снова предалась прерванному делу.

Но на первых же порах возникли затруднения: хотя Овражки и план подземелий были приобретены, но никто из монастырских не мог или не хотел указать места, откуда начать копать. Второй уже день партия землекопов, нанятая Афанасием, курила цыгарки на бугре близ овражка, а генеральша в отчаянии гадала и раздумывала и раз двадцать посылала Афанасия осматривать заколдованное место.

Сегодня, наконец, Павлина увидела жданный сон и рас-

сказала его обрадованной Степаниде Ивановне.

– Некий муж, – говорила Павлина, – явился мне в облаке и указал перстом: крутись, говорит, раба, вокруг себя десять и еще три раза; где остановишься, там и бросай камень через плечо. Где падет камень, там место сие... Сказал муж сие и подал камень.

Павлина бережно развертывала тряпицы и показывала Степаниде Ивановне камень.

– Пойми же, – говорила генеральша, – мы не знаем места, откуда крутиться начать...

– Этого мне некий муж не говорил, – вздыхала Павлина. – Надо опять поспать.

– Когда же ты? Раньше вечера не заснешь, а рабочие ждут. Ах, Павлина, всегда ты что-нибудь напутаешь...

– Разве Афанасия позвать?

– Поди позови Афанасия.

Павлина убежала и сейчас же вернулась с Афанасием.

– Придумал ты что-нибудь? – с тоской спросила генеральша.

– Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, весь овраг излазил.

– Нашел что-нибудь?

– Не извольте беспокоиться, все в порядке – Афанасий подал генеральше кусок кирпича.

– Старинный, ваше превосходительство, от самого подземного места отломался, не извольте беспокоиться.

– Кирпич, – воскликнула генеральша и набожно перекрестилась. – Слава богу! Едем!.. Веди, Афанасий, рабочих, вели мне подавать коляску.

И Степанида Ивановна, взволнованная, пошла к Алексею Алексеевичу. Генерал за эти пять дней махнул рукой на семейные дела.

Попытки «отбрить» и выжить Смолькова в самом начале были генеральшей прекращены. Сонечку, очевидно, жених волновал, а сам Смольков проявил столько веселости и добродушия в ответ на генеральские подкопы, что Алексей Алексеевич однажды за столом объявил:

– Измором меня взяли, быть по-вашему! – и занялся хозяйством, чтобы рассеять скуку.

Для начала придумал он проект особенной зерносушилки и велел кузнецу сделать железную трубу с дырочками. Трубу сделали, но погода назло стояла отличная, и хлеб не подмокал. Тогда генерал решил в трубе вялить яблоки, чтобы всю зиму кормить рабочих компотом: от такой пищи, он высчитал, производительность мужика увеличится на семь процентов. За опытом над новым проектом и застала генеральша Алексея Алексеевича: стоя у окна, палочкой перемешивал он высыхающие на солнце яблоки и отгонял мух...

– Алексей! – воскликнула генеральша. – Благослови меня, я начинаю...

– Дай тебе бог, Степочка, только трать поменьше денег, все-таки, знаешь ли...

– Ах, опять не доверяешь, – жалобно воскликнула генеральша. – Руки опускаются. Пойми, не для богатства, не из каприза ищущу я этот клад, а для славы твоего имени. Сейчас ничего не скажу, но потом ты узнаешь. Тебя, Алексей, ждут не только слава и почести, но и могущество.

– Ну, куда мне его, Степочка. Вот яблоки...

– Ты рожден под счастливой звездой, Алексей. Твоя бабка Вальдштрем... Это шведская королевская кровь... Подумай об этом...

Степанида Ивановна подняла палец, чепец ее сдвинулся набок, на щеках проступили красные пятна.

Свинными Овражками называлась неглубокая котловина, поросшая шиповником и бурьяном, на перевале между Гнилопятами и монастырем.

Со стороны монастыря, откуда начиналась дубовая рощица, лежали на бугре остатки строения, из него уцелели несколько ступеней и часть рухнувшей стены, овитая плющом... Между камней рос шиповник, и корни деревьев разрушали неизвестно кем и когда построенное это жилище. От ступеней овраг круто падал вниз в высокий бурьян и снова поднимался, уже полого, вплоть до голого выгона гнилопятских лугов. Считая развалины и угол рощи, площадь Свиных Овражков не превышала пяти десятин.

Перегнав по дороге рабочих, Степанида Ивановна оставила лошадей у края овражка и пошла пешком вниз через

кусты, которые заботливо перед ней раздвигал Афанасий.

– Где же, где твое место? – повторяла генеральша, задыхаясь от трудной ходьбы и волнения.

Афанасий смотрел под ноги, нагибался, лег даже на землю от расторопности и, наконец, воскликнул, ударив сапогом ветхий камень:

– Сюда становись, Павлина, начинай!..

Павлина осторожно развернула из тряпиц камень, поджала деловито губы, попросила генеральшу и Афанасия отойти и вдруг забормотала истошным голосом, закрутилась и кинула камень через плечо. Генеральша подбежала к тому месту и увидела, что вокруг Павлининого камня на земле набросан щебень.

– Кирпич сам из земли пошел, – сказала Павлина. – Копайте!

Рабочие осмотрели место, побросали в траву одежду и баклажки, поплевали на руки и стали копать, но не очень шибко. Когда же генеральша, разгневанная их ленью, обозвала мужиков бессовестными, старшой сказал:

– Без вина не наша вина, поднесешь – сами руки заходят...

Афанасий на пристяжной поскакал в Гнилопяты за водой. Рабочие быстро очистили место от корней и щебня и стали копать вглубь.

– Вы зря-то не ковыряйте, – говорил старшой. – Ты линию найди; как линию найдешь, так она и пойдет сама тебе галдарей...

– Кирпич, – сказал один рабочий.

– Верно, кирпич, – сказал другой рабочий.

– Нашли, Степанида Ивановна, – сказал старшой, – галдарея...

Степанида Ивановна сама влезла в яму и глядела по плану. Но кирпич оказался единственным, и, порыв еще немного, решили рабочие копать рядом. Скоро, однако, они утомились и сели курить. Генеральша в отчаянии пошла на гору посмотреть, не едет ли Афанасий с водкой...

Наконец Афанасий прискакал. Мужики сняли шапки, а каждый из стаканчика медленно потянул вино, словно полагая, что встанет в жилах его богатырская сила... Выпив, поблагодарили и без шуток быстро принялись рыть. На новом месте открылись стены кирпичного колодца, идущего наклонно вниз. Степанида Ивановна всех благодарила и, садясь в коляску, сказала Павлине:

– Сегодня, Павлинушка, всю ночь не буду спать.

В это время Сонечка и Николай Николаевич сидели в саду на качелях, тихо покачивались. Сонечка похорошела за эти дни и похудела так, что под веками легли у нее тени, глаза блестели. Держась за веревку, она отталкивалась ногой в синем шелковом чулке – подарке бабушки – и говорила без умолку, боясь молчания, той напряженности, когда сердце громко стучит и понимаются затаенные мысли.

На поляне позади качелей на грядках росли огурцы. Со-



нечка очень хотела сорвать один из них и дать Николаю Николаевичу; Смольков же все время намеревался поцеловать девушку в шею, где завиваются волоски. Глядя на краснеющее от стыда это, место, он вдруг спросил:

– А что, дедушка ваш целует еще бабушку или уже нет?..

Сонечка взглянула на него, ахнула и медленно засмеялась.

– Какие вы глупости говорите!

– Нет, отчего, бабушка, по-моему, еще очень красива.

– Знаете, у нее раз карандаш весь вышел, которым брови подводят, я ей обожженную пробку принесла, так вот она такие себе брови намазала...

– Вы злая.

– По-вашему, в самом деле я злая?

– Конечно, я, например, очень хочу одну вещь сделать, а вы мне не позволяете...

– Какую? – Сонечкина рука крепко сжала веревку. – Ну, вы что-нибудь мудреное попросите.

– Можно шейку поцеловать? Один раз?

Одну только минуту подумала она: «Что со мной? Все как во сне!» – но опять засмеялась, отодвигаясь. Николай Николаевич нагнулся и нежно ее поцеловал. Она приоткрыла рот.

– Съешьте огурец, я вам принесу. – Сонечка, спрыгнув с качелей, нагнулась над огуречными листьями. Николай Николаевич, не отрываясь, глядел на ее спину. Сонечка подала ему огурец, с одной стороны пожелтевший, и опять села на качели близко к жениху.

На днях Смольков сделал предложение. Случилось это просто и как-то никого не удивило. Одетый в сюртук, при шляпе, он вошел к Сонечке в комнату, извинился, сел на стул и заговорил о значении семьи для государства. Глаза его были полузакрыты, и все лицо каменное, точно перед ним у окна стояла не Сонечка, а какой-нибудь министр. Затем, кончив вступление, он подошел на три шага и, совсем закрыв глаза, предложил быть его женой... Сонечка ахнула только. Он ушел, и немедленно ворвалась генеральша, обняв девушку, поздравила, а про Смолькова выразилась, что он «идеальный муж». С этой минуты все стало как сон.

– Дни, как черепахи, ползут, – говорил Николай Николаевич, грызя огурец. – Еще семь дней до свадьбы, а мне кажется – конца этому не будет.

– А я так рада, что побольше времени до свадьбы остается...

– Почему же вы рады?

– Так, рада...

– Я знаю, почему – трусите.

– Чего же я буду трусить, вот тоже...

Она усмехнулась. Николай Николаевич осторожно обнял ее, сначала легко, потом все крепче, отыскал губами ее рот и медленно, мучительно и бесстыдно поцеловал. Сонечка, вся пунцовая, вырвалась, закрыла лицо.

– Степанида Ивановна приехала, – с трудом выговорил Смольков. – Пойду встречать.

И, не оборачиваясь, он ушел, а Сонечка осталась сидеть на качелях. Возбуждение ее сразу упало, опустились руки. Несколько часов смеха, двусмысленностей и ставших особенно легкими кокетливых движений утомили Сонечку, и теперь ей было гадливо, и с отвращением глядела она на бесовские свои чулки, одетые напоказ, на вымазанные с вечера кремом, по совету генеральши, руки. Даже в легоньком новом платье не было невинности.

«Откуда все это у меня взялось? – тоскливо думала она. – Как он меня не остановит? Ведь я Бог знает до чего дойду...»

Она передернула плечами и поглядела туда, где за косматыми ветлами садилось красное перед ненастьем солнце. Лиловые тучи багровели по разодранным краям, – в них было грозное, тяжелое предчувствие. В саду затихли птицы, только дикий голубь все еще тосковал, сидя на верхушке березы.

«И этому я стану чужая, – подумала Сонечка. – Он любит ли меня? Должно быть, любит. Надо очень строго следить за собой. Буду больше молчать, не надену больше этих чулок со стрелками. Так просто: перестану кривляться и скажу: я вас, должно быть, очень люблю, милый мой, милый Николай».

Она долго сидела, держась за веревку качелей, положив голову на руку. Когда невдалеке послышался голос Смолькова, идущего с генеральшей, выступили от умиления слезы у Сонечки на глазах, захотелось тотчас же подойти и сказать что-нибудь очень душевное.

За ужином она глядела на Смолькова «собачьими», как он определил, глазами. Генеральша, подергиваясь, рассказывала о каких-то кирпичах. У Николая Николаевича разболелась голова от волнения и вина, и он, захватив свечку, ушел к себе.

Поставив свечу около кровати, Смольков снял пиджак, сунул руки в карманы и, наклонясь над Сонечкиной карточкой, закусил нижнюю губу.

– Больше не могу, – прошептал он, вдыхая свежий воздух. – Монастырь, черт его возьми, какой-то! Целоваться на качелях! Конечно, она может ждать хоть сто лет – птенец. А я что?

Он забегал по комнате, думая все об одном, на чем мысли сосредоточились, как в фокусе, – точка эта была страшно чувствительна, остальной мир понемногу темнел, отпадая. Стали различимы запахи старых книг, ветхой мебели, сада и неуловимых женских духов, пропитавших старую мебель, на которой бог знает кто сидел.

Наконец Смольков остановился посреди комнаты, медленно провел языком по высохшим губам, взмахнул рукой, точно говоря: «Ну, что же я могу тут поделывать?», отворил дверь и громко прошептал:

– Афанасий.

Афанасий пришел и стал затворять окно, но Николай Николаевич, потрепав его по плечу, сказал пересмякшим голо-

сом:

– Послушай, друг, как у вас насчет этого самого?..

– Это насчет чего?..

– Ну, этого самого, понимаешь?

– Что вы, барин, – осклабясь, ответил Афанасий, – мы этим не занимаемся.

– Где-нибудь на селе, наверно, есть эдакое?..

– На селе как девкам не быть, только вам не понравятся.

Солдатка есть, да ничего, чистая.

– Ну вот, вот, сведи меня к солдатке, голубчик. Сейчас я переоденусь... Постой... вот тебе на чай полтинник. Так ничего солдатка-то... а?

– Солдатка – ничего, мягкая.

Спустя время, осторожно, через черный ход, пробрались Смольков с Афанасием в сад, миновали сырые аллеи, плотину и побежали лугом до села.

У крайней избы в траве на пригорке сидели три девушки и негромко пели; в темноте лица их под платками казались маленькими и странно блестели глаза. Афанасий, словно миномехом, подошел к ним, поклонился, разведя руками.

– Наше вам с кисточкой!

– Кто такие? – спросила одна недружелюбно.

– Хуторские, позвольте посидеть с вами.

Девушки переглянулись, засмеялись, и одна сказала:

– Нет уж, идите, откуда пришли.

Афанасий обиделся, влез в разговор, но Николай Никола-

евич потянул его за рукав, шепча:

– Пойдем, пойдем к солдатке...

– Придете на хутор, – я вам припомню, – пригрозил Афанасий девкам.

Они что-то крикнули вдогонку, затем было видно, как поднялись, побежали в темноту.

К солдаткиной избе нужно было идти по задам, перелезть через плетень и насвистать собаку, которая сначала кинулась с лаем, но, узнав голос Афанасия, побежала вперед. Боязливо на нее поглядывая, Николай Николаевич покорно прыгал в какие-то канавы, изорвал штаны, промок, попав в навозную жижу, и, наконец, выйдя на пустой дворик, увидел стоящую на крыльце высокую бабу.

– Марина, – бойко сказал Афанасий, – принимай гостей.

– Ах, батюшки, я-то испугалась, – низким веселым голосом молвила баба. – Что же, если с добром, заходите! А это кто? – шепнула она Афанасию и после ответа еще приветливее закачала головой.

Николай Николаевич снял шляпу, поклонился и взошел на крыльцо, но в избу Марина его не ввела, а осталась в сенях, сев на кровать. Привыкшие к темноте глаза Смолькова различили постель со множеством подушек («Воображаю, – подумал он, – каковы подушки»), дойницу с молоком и зыбку, висевшую около на ремне.

– В избе сестрица больная лежит, – прошептала солдатка и весело поглядела Николаю Николаевичу в лицо.

– Ну, как же ты? – спросил Смольков, повернулся и обнял бабу.

Марина засмеялась, освободилась. – Вино будете пить?

– Да, да, вот – рубль. Купите вина.

Афанасий взял деньги и побежал к какой-то своей куме. Николай Николаевич остался, наконец, вдвоем с женщиной и, сердясь на свою непредприимчивость, придумывал, что бы такое ей сказать, чтобы разрушить странную эту, какую-то необычайно простую действительность.

– Почему ты меня не поцелуешь? – сказал он томно и подумал: «Пахнет молоком и чем-то съестным, не то печеным».

– Чего? – совсем уже весело спросила Марина и, закрыв рот ладонью, проговорила, вся трясясь от веселости: – Что это вы, барин, ко мне пришли... ну и барин!

Затем, не выдержав, она стала смеяться так, что затряслась и заскрипела кровать.

Смольков рассердился: страсть его уменьшалась с каждой секундой; он засопел, хотел выругать глупую бабу, но живот его сам по себе начал подпрыгивать, и Николай Николаевич визгливо захохотал.

– Дура, вот дура!

– Я думала, он насчет молока, а он – вон зачем явился, – плача от смеха, говорила Марина.

Николай Николаевич начал уже чувствовать к ней что-то вроде родственного добродушия и, придвинувшись ближе,

ударил ее по спине. Она пхнула его под бок. Оба они покатывались со смеху, Неизвестно, долго ли бы продолжалась эта игра, но вдруг в светлом четырехугольнике двери появился Афанасий.

– Беда, барин, – проговорил он испуганной скороговоркой, – девки к нам ребят подослали... Бросайте бабу, бегимте...

Действительно, на улице были уже слышны голоса, шепот. Ударили в ворота... Николай Николаевич выбежал на двор. Через ворота, через плетень лезли парни. Николай Николаевич завизжал и пустился бежать по задам, через канавы и плетни... За ним молча, рысью летел Афанасий. А сзади, топая сапожищами, неслись парни, вскрикивая дикими головами так страшно, что волосы у Николая Николаевича стояли дыбом...



## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Утром, в темной каморке за лестницей, на лежанке сидели Афанасий с Павлиной и не то чтобы разговаривали, но кряхтели больше да почесывались.

Перед ними на столе, за ветхостью отнесенном из парадных комнат в лакейскую, попискивал последнюю песню самовар, в топленом молоке плавала деревянная ложка... Особенно вздыхал и почесывался Афанасий, с утра сегодня бегавший два раза в село и на Свиные Овражки. Павлина, умильно на него поглядывая, благообразно икала после чаепития, крестила рот. Конечно, Павлина могла бы и не икать, но делала это, чтобы показать, как она вот и сыта и довольна, – а когда человек сыт и доволен, не грех ему и побаловаться.

– Полно, сокол, вздыхать, – говорила Павлина, – не ропщи, тепло тебе и сытно, куда же еще больше? А что грехов полон рот, так на том свете все равно простят, – мы неученые.

– Ерунду ты, баба, мелешь, – отвечал ей Афанасий, – отроду тебе ходить в лаптях, а мы в шевровых башмачках ходим... Скажи вот лучше, что делать? Генеральша-то наша совсем сбесилась: копайте, говорит, дальше, ничего я знать не хочу...

– Петухов купил?

– Десять рублей выдала, птиц двенадцать штук купил. Только, по-моему, петухи в этом деле ни к селу ни к городу. Что за глупость – петух! Петух – обыкновенная птица, цыпленок. Эх, дура ты, баба.

– Без петуха шагу нельзя ступить, – ты, сокол, умен, да мало понимаешь...

– Ох, а ты много знаешь!

– Как мне не знать, – наши монастырские, чай, три года в этом месте копали, да бросили, – взяться не умели...

– А ты умеешь?

Павлина опустила глаза, поджала губы, степенно вздохнула. Афанасий поглядел на нее, подумал: «Шельма баба».

– Генеральша что теперь делает? Надо бы уж ехать, – сказал он.

– Генеральша письмо читают.

Афанасий потянулся, лениво спрыгнул с лежанки.

– Вот что я тебе скажу, а ты помни: против меня не иди – плохо будет; а вместе за дело возьмется – деньгу зашибем. – При этих словах Афанасий трыкнул языком, ткнул бабу под микитку и, захватив из сеней лукошко с петухами, поехал на работы.

Степанида Ивановна действительно читала в это время письмо, собрав всех у себя в комнате. Письмо было от Ильи Леонтьевича – четыре страницы, исписанные мелким и четким почерком.

«Благодарю вас за ваши сердечные заботы о дочери

моей, – писал Репьев. – Господь милостив, послав мне таких друзей. В лице же будущего любезного зятя я уверен встретить твердого христианина и наставника моей дочери. Так я сужу по вашему о нем отзыву и заранее радуюсь счастьем Софьи. На бракосочетание приехать не могу – привязывают меня к дому хозяйственные заботы. Кроме того, считаю, что столь важный шаг в жизни молодых людей должен быть совершен скромно, по возможности без свидетелей. Прошу поэтому много не тратить на свадебные приготовления, а необходимые издержки возьму тотчас же переводом денег. Приданое Софьи давно готово. В именице ее, Сосновка, озимые засеяны и пар вспахан, – все в порядке. Придут молодые, пускай вьют себе гнездо».

Сонечка очень огорчилась отказом отца приехать на свадьбу, потому что знала: если он, увидав жениха и поговорив, одобрит, все сомнения ее улетят, как дым, и она будет спокойна и счастлива.

Пожалел и Алексей Алексеевич: давно ему хотелось поглядеть старого друга. Но, видно, уж до смерти не придется.

Степанида Ивановна, обняв и перекрестив Сонечку и Николая Николаевича и заставив то же проделать генерала, послала к сельскому попу приказание – оглашать молодых. Присела с веером в руках на канапе, рассказала о какой-то Симичевой, которая кому-то послала письмо, а сама внезапно вышла замуж, – причем никто о Симичевой ничего не

понял, – и собралась ехать на раскопки, приглашая с собой Смолькова и Сонечку.

По дороге она рассказала, что работа на Свиных Овражках до сегодняшнего дня шла успешно. Вынув изнутри кирпичного колодца землю, рабочие наткнулись на свод, полого идущий под горою, образуя собой галерею шириною в полтора аршина. Но, пройдя около трех сажен, галерея уперлась в скалу, и сколько рабочие, совместно с советами Павлины, ни бились – не могли найти дальнейшего хода. Очевидно, в этом месте и началось заклетье, которое нужно отомкнуть. Это было вчера. Генеральша далеко за полночь совещалась с Павлиной и услала ее, наконец, видеть сон. Чуть свет Павлина объявила, что нужно в том месте зарезать двенадцать петухов – пролить кровь. Двенадцать потому, что Мазепа заколол двенадцать казаков, петухи же были выбраны как единственное земнородное, которого боится нечистая сила.

– Я очень надеюсь на средство это, – весьма значительно проговорила генеральша, когда коляска остановилась около раскопок.

Рабочие были все в сборе. Павлина сидела на камне, закрыв глаза, очевидно приготовляясь к заклятию. Афанасий в обеих руках держал по шести петухов, бивших крыльями, и почтительно глядел на подъехавших.

Степанида Ивановна пересчитала птицу и приказала начинать. Павлина сняла ваточную кофту, попробовала на пальце нож, приказала поддерживать себя под мышки и так

спустилась в наклонный колодезь. Афанасий бросил ей черного петуха, который бил крыльями и кричал. Степанида Ивановна в волнении глядела, как баба сначала не смогла словить птицу, потом, ухватив одного петуха за шею, поползла вниз и скрылась под землю. Слышны были только ее причитания и возня. Потом все замолкло. Павлина высунулась на свет, протягивая окровавленную руку за новым петухом.

Павлинина растрепанная голова появлялась из-под земли двенадцать раз. Генеральша чувствовала, что ее мутит. В это время один резаный, но недорезанный петух вылетел из ямы, обдал генеральшино платье кровью, побежал по траве и кувырнулся... Степанида Ивановна, побледнев, прошептала: «Это дурной знак!» – но осталась стоять, превозмогая себя. Наконец птиц всех порешили. Павлина вылезла из-под земли и, отирая о траву руки, сказала скороговоркой:

– Теперь камень, как воск. Копайте, ребята, прямо, – не вбок и не вперед. О, силушки моей нет, легла на меня кровушка. Тьфу! тьфу! тьфу!..

Рабочие, посмеиваясь, полезли под землю, и старшой, осклабясь, спросил;

– Насчет курей, Степанида Ивановна, дозвольте в обед сварить?

– Варите, варите, ничего, – отвечала Павлина, – наперед только святой водой окропите, а то поешь, да и пошел сам петухом кричать.

Сонечка и Николай Николаевич, плечом касаясь плеча,

сидели все это время на бугорке среди шиповника и тихо разговаривали.

Смольков присмирел после ночного похождения, сделался тише воды, – деревня не казалась ему больше патриархальной и добродушной, как в первые дни. В ушах еще до сих пор отдавались крики парней, от которых едва тогда ушел ночью. Сонечка думала: «Боже, как я в нем ошибалась: милый, кроткий и совсем не страшный».

Солнце стояло высоко. Сонечке было жарко, лениво, приятно. Пекло руку, лежащую на колене. Медом и зноем пахла трава.

– Посмотрите, что это с бабушкой, – усмехаясь, сказал Смольков, – хватается за грудь... Что-то нашли, должно быть.

– Покажите какой – каменный? *католический*? – донесся голос Степаниды Ивановны.

– Должно быть, нашли крест, – ответила Сонечка, – я помню, что это *первая примета* по плану; другие две – *орел и каменная голова*. Видите, как все сбывается; я знаю, что клад найдут. Один только дедушка в него не верит.

Николай Николаевич повернулся и сощурил глаза:

– А что бабушка думает с кладом сделать?

– Я не знаю, что, – наверно себе возьмет. В это время Степанида Ивановна закричала:

– Дети, идите сюда!

И когда они сбежали с горки, подняла обеими руками до

этого прижимаемый к груди каменный крест.

– Сбылось... сбылось!..

Говорить генеральша не могла, маленькое лицо ее покрылось под румянами лиловыми пятнами, шляпка сбилась, платье было испачкано петушиной кровью и землей...

Перепуганная Сонечка подхватила ее под один локоть, Смольков под другой, и повели генеральшу к коляске: усадили и повезли домой. Дорогой Степанида Ивановна плакала и целовала крест.

Степанида Ивановна выпила черного кофе и приказала просить к себе генерала, но Алексея Алексеевича в кабинете не оказалось: он ушел к амбарам, где насыпали отсеянную рожь на воза.

Покупка Свиных Овражков и приготовление к свадьбе заставили генерала поторопиться продажей хлеба. Он решил сам теперь вникать во все мелочи хозяйства, присутствовал при насыпке, а вечером сегодня собирался в город, чтобы на утреннем базаре самому продать рожь.

Довольный, что нашел дело по душе, Алексей Алексеевич стыдился немного приказчика, с улыбкой выслушивавшего решительные его приказания, и, чтобы устранить всякое постороннее влияние, послал приказчика считать деревья в заповедном лесу, хотя это, можно было сделать и в другое время. Приказчик обиделся, но ушел, а генерал летал от веялок к амбару, от амбара к возам и зычным голосом побрякивал

на рабочих, – красный весь, одухотворенный, будто на войне.

К полднику в пять часов генерал явился в промокшем насквозь кителе и поспешно принялся есть. Очень этим недовольная, Степанида Ивановна начала обиженным тоном издалека рассказ о сегодняшней находке, но генерал перебил:

– Хорошо, хорошо, Степочка, отлично... Нашла какую-то штуку... после доскажешь.

И убежал, крича Афанасию закладывать лошадей.

– Не штуку, а крест! – крикнула вдогонку генеральша – Сумасшедший человек, бурелом!.. Чувствую, дети мои, – с этой продажей хлеба – кончится плохо.

Вечером того же дня подъезжал Алексей Алексеевич по ровной и голой степи к уездному городу. Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. Тащились навстречу телеграфные тощие столбы вдоль дороги. Впереди за канавой торчали кресты кладбища, еще далее – заборы, крыши предместья и колодезные журавли. Тихой рысью бежали лошади, поднимая пыль. У дороги валялась падаль, оскалая зубы. Становилось тусклее с каждой минутой, тоскливее.

Алексей Алексеевич сначала бодрился, откинув на затылок генеральскую фуражку и подбоченясь, но тоска, наконец, и его проняла.

– Погоняй, что ли!

– Но, милые, – уныло покричал кучер, помахал варежкой и опять сгорбился, так что линиялая его рубашка надулась пу-



зырем.

Наконец, поравнявшись с первой избой, тарантас тяжело въехал в песок улицы. У ворот поклонился генералу седой мещанин в жилетке; опустив крылья, побежала под лошадей курица; Алексей Алексеевич прочел заржавленную вывеску синими буквами: «Стрижка, бритье, также починка часов», – поморщился и сердито крикнул да мальчишку, которым норовил присесть сзади тарантаса. Дома были с воротами и крашеными ставнями, но ближе к центру стали попадаться и каменные, под охру или дикого цвета. На углу переулка дремал в заплатадном кафтанишке извозчик, линейка его и сивая лошадь были до того стародавние, – казалось, со времен еще Екатерины дремал он на этом углу. В переулке появился первый керосиновый фонарь, и тарантас, громыхая, въехал на большую площадь, где стояли собор, лавки и въезжий трактир.

Алексей Алексеевич приказал здесь остановиться, на вопрос кучера, не завернуть ли лучше в «Ливерпуль», ответил, что приехал не спать, а дело делать, и крикнул отворять ворота.

Рыжий мужик, в нагольном полушубке, но босой, со скрипом отворил ворота, и лошади, чавкая по навозной жиже, въехали во двор.

– Не были еще воза из Гнилопят? – спросил генерал.

– Нет, возов из Гнилопят не было, – отвечал мужик. – А что, овес у вас свой или хозяйский?

– Хозяйский, хозяйский, – сказал кучер, – у нас господские кони, едят овес без песку.

– Зачем хаешь, у нас овес хороший, – сказал мужик.

Генерал вылез из тарантаса, разминая отеكшие ноги, потянулся, через широкое, затопанное грязью крыльцо вошел в трактир. В большой, низкой и грязной горнице у окна за самоваром сидели три человека в суконных чуйках и негромко разговаривали. Один был толстый, с висячей губой – сопя, втягивал он в себя чай и крякал; другой – безбородый парень, круглолицый и курносый, говорил прибауточками, вытирая полотенцем скулы, которые до того были крепки: колоти по ним кулаком – мозоли набьешь; у третьего – седая борода и умные серые глаза.

На вошедшего генерала чаепийцы посмотрели равнодушно, но, когда он сел на лавку и отвернулся, перемигнулись.

«Запашок!» – подумал Алексей Алексеевич и, разглядывая липкие, ободранные обои, захарканый пол, заметил еще четвертого посетителя, – должно быть, землевладельца из мужиков, в суконном кафтане, сидевшего поодаль, подсунув под себя руки... Мужик слушал, что говорилось, на генерала же не обернулся... Говорили о прошлых ценах, об урожае и о каком-то Ниле Потапыче Емельянове.

– Вы тоже рожь привезли? – спросил генерал мужичка, подсунувшего руки.

Мужик зевнул, ладонью провел вверх и вниз по лицу и кивнул головой.

– А какие, вы думаете, цены назавтра будут?

– А кто их знает, все от бога...

– Цены, господин генерал, плохие, – бойко сказал парень, – ржи очень много навезли. Да вы подсаживайтесь, сделайте милость, – не угодно ли стаканчик чайку?..

«Э, да у них я все разужнаю, – подумал генерал и пересел к чайному столу. – У меня, кажется, с собой бутылка вина есть и пирожки».

– Степан! – постукав пальцем в окно, позвал он, – Принеси-ка погребец. Так вы говорите, низкие цены?

– Хлеб хоть в речку ссыпай, вот какие цены, – хрипло сказал толстый человек...

– Жаль, а у меня так сошлись семейные дела, что вынь да положь сейчас деньги, – сказал генерал и спохватился. – Хотя не сойдуь в цене – отправлю за границу.

Чаепийцы уставились глазами в стол, старик сказал;

– Нет, рожь за границу не идет... Пшеничка – другое дело...

– Куда ее с базара повезешь, провоз денежки стоит, – сказал толстый человек.

– Мы уж и так горюем, – подхватил парень. Мужик, сидевший на лавке, перебил их с сердцем:

– Горюем. Горе твое вот где у меня, – и показал себе на шею... Все трое захохотали, а мужик громко плюнул, снял кафтан и лег, ворча: – Мошенники, прасолы, осиновым вас колом...

– Так вы мои завтрашние покупатели? – спросил генерал...

– Нет, – отвечал парень, – где нам, мы для себя берем возик или два. – И стал расспрашивать Алексея Алексеевича о хозяйстве и о том, почему сам приехал, а не послал приказчика. Генерал охотно на все это отвечал, радуясь, что ловко сумел угостить нужных ему людей...

Потом пришла босая и заспанная баба, унесла самовар и привернула лампу... Прасолы, встав из-за стола, пошли спать, должно быть, на сеновал или в телеги. Алексей Алексеевич разостлал на лавке плед, под голову положил кожаную подушку и, не думая заснуть в такой духоте и вони, скоро задремал, чувствуя, как дрожат стены и стекла, хлюпает что-то, рвется, задыхаясь, будто ходит по горнице мокрый вихрь, – то похрапывал христианской своей утробой землевладелец из мужиков... Потом пришел какой-то человек, сел на пол и стал раздеваться, – оказалось, это был Смольков во фраке с графином кваса в руке... «Дайте-ка напиток», – сказал ему генерал. «А по сорока семи копеек за пуд хочешь?» – ответил Смольков, и у него отвисла губа. «На кого он похож? – со страхом думал генерал. – Э, да это убитый турок! Ах ты!..» Но турок стал на четвереньки и вдруг ударил в барабан. В ужасе генерал проснулся, сбросил ноги и посмотрел.

За окном брезжил рассвет и кричали петухи; кто-то, выйдя из избы, ударил дверью.

«Зачем я сюда попал? – подумал генерал. – Пить как хочется... Ах, да...» – И, поспешно надев пальто, вышел во двор.

На дворе очертания крыш четко рисовались на небе, едва тронутым с востока оранжевой зарей, и было так тихо, что слышался хруст жующих сено лошадей. Кучер Степан, в армяке от утреннего холода, подошел к Алексею Алексеевичу и не громко еще, по-ночному, сказал:

– Воза приехали, ваше превосходительство.

Алексей Алексеевич кивнул головой и, вздрагивая от дремоты, вышел через калитку на площадь.

Площадь, пустая с вечера, теперь была заставлена возами, – поднятые оглобли их торчали, как лес после пожара. Распряженные лошади жевали сено, и слышались голоса проснувшихся крестьян. Предрассветный ветер пахнул навозцем, сенной трухой и дегтем. Алексей Алексеевич, ходя меж возов, после долгих расспросов отыскал, наконец, свои сто сорок восемь телег, стоявших на дальнем конце площади, у реки.

– Что, ребята, благополучно? – спросил генерал, подходя к своим.

Трое или четверо возчиков сняли шапки, один, ответил:

– Все слава Богу, Алексей Алексеевич.

– Хорошо продадим – на водку получите.

– Благодарим покорно, – ответил тот же голос.

Генерал взлез на телегу и закурил папироску. Вчерашний

задор соскочил с него, и продажа хлеба вовсе не казалась простой и веселой, к тому же от душной комнаты тошнило, болела голова и хотелось пить... Но генерал пересилил себя и в трактир не пошел, а дождался, когда откроют пекарню, и послал одного из возчиков купить горячего хлеба и молока.

«Расскажу Сонюрке, – думал он, – как я на возу молоко пил. Фантастично! Что же эти дураки купцы не идут, пора бы, совсем светло... А вдруг они ко всем подойдут, а ко мне не подойдут? Гм!»

Светало быстро. Лошади ржали, хотели валяться. Задвигался, разговорился народ.

Генерал, держа в одной руке калач, оглядывался, поджидая, стараясь придать себе равнодушный вид. Вдруг между возов появилась синяя чуйка – вчерашний парень... Алексей Алексеевич сразу ободрился и помахал чуйке калачом. Но парень, как будто не замечая генерала, заглядывал в чужие воза и сошелся со вчерашним землевладельцем из мужичков, принявшись о чем-то кричать и хлопотливо рыться в его возу.

Алексей Алексеевич огорчился таким невниманием, но решил ждать терпеливо. Солнце поднялось над крышами, и многие воза снялись с площади и уехали. Торг, очевидно, шел вовсю. Слышались пьяные голоса...

«Что за дьявольщина, почему ко мне не подходят?» – думал генерал и начал уже сердиться, вертясь на возу. Вдруг позади окликнул его деловитый голос:

– Послушайте, что продаете?..

Это говорил вчерашний парень и, морщась, пересыпал рожь из ладони в ладонь. Алексей Алексеевич опешил:

– Как что? Рожь!

– Разве это рожь, – сказал парень, бросая зерно в телегу, – ржишка, прошлогоднее гнилье...

– Гнилье, – закричал генерал, – сегодняшний урожай! Да вы смеетесь! Гнилье!

– Нам смеяться не время. Сорок семь копеечек от силы могу дать...

И, поправив картуз, он отошел, а генерал, дернув плечами, гневно отвернулся, прошипев:

– Нахал, мальчишка!..

Цена ржи на нынешнем базаре стояла шестьдесят три копейки за пуд (так сообщили генералу возчики, бегавшие слушать, как торгуются), отдать же по сорока семи значило потерять рублей пятьсот, вернее – подарить их этому нахалу прасолу. Воза продолжали разъезжаться, и Алексей Алексеевич все более гневался и недоумевал. Тогда подошел к нему вчерашний толстый прасол, подал жирные пальцы лопаткой и, не хваля, не хая, предложил сорок пять копеечек за пуд...

– Шестьдесят, – сказал генерал не глядя и добавил дрогнувшим голосом: – Эх ты, бессовестный!

Прасол развел руками и лениво отошел.

Долго не мог побороть гнева Алексей Алексеевич и, насупясь в седые усы, не глядел на окружающих. Когда же под-

нял глаза, мимо, не замечая его, проходил третий вчерашней знакомец – старик.

– Послушай, покупаешь... рожь? – спросил генерал. – За пятьдесят девять отдам...

– Это не цена, – не останавливаясь, проговорил старик, – цена сорок три копейки за твою рожь, барин...

– Дурак! – крикнул генерал. – Болван!

Воза развезли все, и на площади, усеянной объедками сена, остались одни гнилопятские, посреди которых на телеге сидел на людское посмешище генерал, сутулясь и поводя покрасневшими глазами. Дворянская фуражка его съехала набок, и коробом торчало запачканное серое пальто. По очереди подходили прасолы и, явно издеваясь, давали сорок, даже тридцать пять за пуд, а он не отвечал, выжидая, когда подвернется кто поближе, чтобы хоть ударить по морде обидчика.

Возчики стояли поодаль и смеялись; смеялись приказчики, выйдя на порог лавок; под колесами вертелись босоногие мальчишки, и по всей площади полетел слух о сердитом барине, которого травят прасолы и заставят чуть не даром отдать хлеб или везти домой, что еще более накладно и обидно.

Прасолов же подговорил купец Нил Потапыч Емельянов, который теперь и шел по площади в длиннополом сюртуке, надетом на ситцевую рубаху, широко расставляя ноги и еще шире улыбаясь. Подойдя к сердитому генералу, Нил Потапыч сдернул картуз с помазанных коровьим маслом кудрей



своих, отнес его вбок и сказал с широким поклоном:

– С почтением Алексею Алексеевичу, поиграли дермом и за щеку, как говорится. Вели запрягать, даю пятьдесят пять копеечек с половиной...

– Вон! – вдруг побагровев, заревел генерал. – Не позволю, зарублю!.. – И, спрыгнув с телеги, трясясь и брызгая слюной, побежал к лошадям. – Мужики! мужики! негодяи! Запрягай! вали все в воду... к черту!..

– Что ты, что ты? – говорил Нил Потапыч, отступая. – Одурел человек!..

Алексей Алексеевич сам отвязывал лошадей, за недоуздки тянул их к возам и, подставляя мужикам кулаки под самый нос, кричал: «Запрягать! запрягать! запрягать!» Воба скоро зашевелились, и генерал заметался около них, хватал вожжи, кнутом бил лошадей по мордам, и все сто сорок восемь телег, скрипя и колыхаясь, понеслись под гору к речке...

Кричал генерал сначала басом, потом пронзительно и, наконец, замолк – порвался голос, и он только шептал:

– Вали в воду, подвертывай! – сам схватился за первый воз, рванул брезент, и с шумом зерно посыпалось в тихую реку.

Мужики захохотали и с криком опрокинули телегу колесами вверх... Подвозили еще и еще и перевертывали. На горке у дома собрался народ. Нил Потапыч стоял все еще без картуза, расставя в изумлении ноги и руки. Заголосила ка-

кая-то баба. Густым золотым слоем по всей речке плыло зерно. Долго глядел на реку Алексей Алексеевич, потом повернулся к народу и показал шиш.

# ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

– Уйди, Павлина, пропади с моих глаз! – в отчаянии говорила Степанида Ивановна.

Павлина, хватая ее за платье, вопила:

– Я ли не старалась! Взгляни на меня, ягодка, глазочком погляди на меня, дуру!

– Я тебе вверилась, Павлина, хорошо ты меня отблагодарила.

Павлина ударилась головой о половицу и пуще принялась стонать.

– Разум отшибло! От сладкой пищи жиром я, окаянная, заплыла, огорчила свою благодетельницу!..

– Петухи ей понадобились, а зачем? Смеяться надо мной или денег выманивать? Ты бы сказала, я бы тебе просто денег дала...

– Ох, смерть пришла, ох, мочи моей нет! – причитывала баба.

– Уходи, Павлина, вон! – Генеральша повернулась на диванчике лицом к стене.

Произошел такой разговор потому, что вчера ночью обрушился не укрепленный подпорками свод и землей завалило всю галерею. Землекопы кобенились, уверяя, что это – чертова работа, и просили расчет. Им прибавили поденную плату и поставили ведро водки, с которой они напились влоск

и завалились спать на Свиных Овражках, в густом папоротнике. Афанасий ходил их будить, не добудился, сам как-то нечаянно напился и, вернувшись, побил Павлину. На глупую бабу пала вся вина.

– Что за глупости придумала – петухов! – после молчания продолжала генеральша. – Не знаешь ничего, так и говори: ничего не знаю, ваше превосходительство. Наверно, и все сны твои дурацкие.

Павлина сидела на полу, пригорюнясь. С покрасневшего ее носа падали слезы. Вдруг она вскочила и ударила себя по бокам.

– Догадалась! Лопни мои глаза! Петухов-то надо купить *неторгованных*.

– Как неторгованных? – спросила Степанида Ивановна и с живостью спустила ноги на ковер.

– *Неторгованный* петух *силу* имеет, благодетельница, а *торгованный* есть *суповая куря*. Сколько спросили за птицу, столько за нее и давай. Слава тебе, Господи, вспомнила. Пожалуйте денежек, я сейчас побегу...

– Ну, нет, – сказала Степанида Ивановна твердо, – хотя я вижу, в чем была ошибка, но денег тебе не дам, сама поеду и куплю.

Генеральша подробно расспросила, каким образом покупать петухов, где и когда. В это время вошел Афанасий и, прикрывая ладонью рот от винного духа, доложил, что генерал вернулся, прошел прямо в кабинет и никого к себе не

пускает.

– Вонь какая от тебя, – сказала генеральша. – Ах ты пьяница!

– Это бензин-с, – извинялся Афанасий, – для чистки его превосходительства панталон-с.

– Поди узнай, хорошо ли продали хлеб.

– Никак нет, ваше превосходительство, кучер мне говорил, что его превосходительство хлебец в воду изволил высыпать.

– Что? В воду? Ужас! Быть не может! Генеральша побелела, как носовой платочек, ноги ее подкосились, и она села на диван, но вскоре оправилась и поспешила к Алексею Алексеевичу.

На стук в дверь он не ответил; услышав же голос жены, кашлянул, зашаркал туфлями и повернул ключ. Степанида Ивановна толкнула дверь и ахнула: перед ней стоял, сутулясь, Алексей Алексеевич, желтый, со спутанными волосами, страшный, в грязном военном пальто.

– Запах какой-то от тебя, Алексей. Что ты наделал? – закричала генеральша.

Генерал пошевелил губами в, держась за косяк, опустился на колени.

– Прости меня, Степанида Ивановна, я утопил весь хлеб. – И, подняв плечи, покрутил поникшей головой.

– Милый ты мой, – охватив его руками, торопливо заговорила Степанида Ивановна, – ты болен, совсем болен... ляг...

Афанасий, воды горячей! Что за слуги ужасные! – вскрикнула она, звоня в колокольчик. – Ложись, ложись и молчи.

С трудом поднялся генерал и, поддерживаемый генеральшей, прилег на диван, вздохнул судорожно, заморгал, и слезы потекли по грязным щекам, Степанида Ивановна молча прижимала его голову к груди.

Принесли воды, омыли генерала, одели в чистое белье, спустили в кабинете шторы.

Генеральша сидела на диване, держа мужа за руку; когда же он начинал шевелиться и вздыхать, повторяла:

– Не бывает счастья без горя, вот тебе горе было и прошло, а на смену счастье придет, Верь только мне. Я найду тебе иные сокровища. Крепись, Алексей, и терпи.

– Хорошо, буду терпеть, только ты-то меня прости, – шептал генерал.

Принесли заваренной крепко малины, рому, генерал откусал, и ему полегчало. Генеральша дождалась, когда Алексей Алексеевич уснул, и велела позвать к себе кучера; он рассказал все, как было.

Генеральша ему и всем настрого запретила напоминать генералу о несчастьи и, не теряя времени, поехала в село.

Теперь, когда хозяйство потерпело такой урон, было совсем необходимо скорее окончить дело с кладом. Силы генеральши возросли, и она объездила все дворы, но петухов нашла только двух; бабы уверяли, что без петухов в хозяйстве трудно, – не самим же им кур топтать, – и за птицу дер-

жались крепко.

В соседних деревнях могли тоже не продать или всучить каких-нибудь дохлых кочетов; поэтому, чтобы сыграть наверняка, решила Степанида Ивановна поехать в город и попросила Николая Николаевича сопровождать себя в пути...

Смольков надел охотничий костюм, и они поехали. Городской *базар* давно отошел, когда гнилопятские измокшие от быстрой езды лошади остановились на большой площади около лавки со съестным. На вопрос Степаниды Ивановны, есть ли живые петухи, расторопный приказчик принес без малого половину туши говядины; генеральша рассердилась.

– Я у тебя петухов спрашивала, а не говядину твою вонючую...

– Не извольте гневаться, – возразил приказчик, похлопывая по туше, – говядина у нас первый сорт, а вам куда петуха: естество у него лиловое, жесткое.

– Дурак ты, отец мой, – отрезала Степанида Ивановна и приказала кучеру пойти по домам спросить, не продадут ли птиц – барыня, мол, не торгуется.

Кучер, передав Смолькову вожжи, ушел. Из соседней галантерейной лавки вышел приказчик, держа картуз на отлет, и предложил только что полученного уральского балычку. Приглашали также зайти в мучной лабаз и в квасную, Какой-то лохматый мужик в бабьей кацавее привел на веревке продавать тощего телка.

– Отъезжайте, Николай Николаевич, – воскликнула раз-

гневанная генеральша, – вот сюда, поближе к реке, – и стала внимательно глядеть на берег, где ходило множество кур и вспархивающих голубей... – Здесь его мучили, – прошептала она, – вон следы от колес, и эти птицы! Николай Николаевич, отъезжайте подальше от ужасного места... Злые, гадкие люди...

Генеральша заплакала в платочек, не выдержав волнений сегодняшнего дня. Смольков растерялся, упустил вожжу и в утешение сказал:

– Ободритесь, побольше энергии...

Кучер явился и объявил, что бабы ломают несуразную цену – по рублю семи гривен за цыплака, а он предлагал даже восемьдесят, а гусей, мол, сколько угодно.

– Ну, не глуп ли ты? – вытирая слезы, укорила его Степанида Ивановна. – Говорила я: нельзя торговаться... Иди за мной...

У ворот двухэтажного дома генеральша вылезла и нашла во двор. Во дворе у черного крыльца стояла с решетом в руках худая мещанка в ярко-зеленом платье и звала:

– Цып, цып, тега, тега, уть, уть! – бросая из решета птицам размоченный хлеб... Вошедших Степаниду Ивановну и кучера она подозрительно оглянула: – Вам что нужно?

– Продайте мне вот этого, – сказала генеральша, с волнением глядя на голенастого красного петуха.

– Самим надобен, ищите у других.

– Я не торгуюсь. Сколько хотите?



– А вам зачем?..

– Это не ваше дело, – вспыхнула генеральша, – я спрашиваю, продадите петуха?

– Не мое дело, так на чужие дворы не шляйтесь, – с тоскливой злобой проговорила мещанка, отворачиваясь.

На следующем дворе оказалось, что петуха вчера только задавила свинья, а то бы непременно продали, в третьем месте совсем было удалось купить, но когда девчонка стала лопотить покупку, петух заорал и улетел через забор.

После долгих хождений Степаниде Ивановне удалось приобрести трех птиц, и кучер посоветовал поехать в слободку. В слободке, очевидно, прослышали про барыню, которая не торгуется, и бабы нанесли великое множество петухов, прося за них совсем уже несуразные цены. Наконец лукошко, привязанное к козлам, наполнилось, и генеральша приказала поскорее гнать лошадей домой, так как солнце зашло и с запада надвигалась черная туча, усугублявшая вечернюю темноту.

Гладкая степная дорога, дойдя до пашни, испортилась: плугари, заворачивая плуги на обратную борозду, исцарапали путь; коляску стало подбрасывать так, что Николай Николаевич прикусил язык, лукошко трясло, и один из петухов, приподняв плетеную крышку, оглянулся, ударил крыльями, выпрыгнул и побежал по пашне, за ним выскочил другой и сел на траву.

– Стой, стой! Держи, держи его! – закричала генеральша,

обхватив лукошко. Смольков проворно вылез из коляски и побежал за голенастым петухом, мелькая белыми панталонами по пашне. Петух заметался. Когда Смольков нацеливался, чтобы его схватить, нырнул он между ног, и Николай Николаевич, потеряв равновесие, падал. Так они далеко забежали по пашне, и, только нагнувшись, можно было видеть на вечерней заре силуэты человека и впереди бегущей птицы. Степанида Ивановна подобрала смиренного петушка, сидевшего в траве около коляски, поцеловала, посадила в лукошко и, вздернув юбки, побежала, спотыкаясь, на помощь Смолькову.

– Берегитесь, он страшно клюется, – кричал издали Николай Николаевич.

Промокший и грязный, вернулся он со Степанидой Ивановной к экипажу, – петух же удрал, где-то присев за кочкой.

Стал накрапывать дождь, подняли верх у коляски и скоро въехали в удельный лес. В лесу стало совсем темно, пропала из глаз серая полоса дороги. Только дождь стучал в кожаный верх экипажа да глухо роптали невидимые во мраке листья. Лошади шли шагом, потом остановились совсем, и кучер, нагнувшись, сказал, что придется переждать, пока прояснит, иначе можно сгубить коляску и коней, въехав на буреломное дерево или в канаву. Генеральша очень рассердилась, но делать было нечего; из саквояжа вынула она двухствольный, взятый из генеральской коллекции пистолет, положила на колени и проговорила громким шепотом:

– Никому не доверяю в такое время.

– Разве есть опасность? – поспешно спросил Смольков.

– Посмотрите, какая темнота, лица вашего не вижу, а здесь по дорогам шалят...

Лошади в это время захрапели, кучер прикрикнул на них, но они продолжали пятиться: кто-то, очевидно, приближался. Вот чавкнула нога по грязи, хрустнул сук.

Степанида Ивановна, услышав, как стучат у Смолькова зубы, прошептала:

– Перестаньте же, стыдно! – и, высунувшись из-за кожуха, сказала громко: – Не подходи, я стреляю!..

– Зачем стрелять, – совсем близко ответил кроткий голос, – я не лихой человек. Видишь – темень какая засалила – и глаз не надо...

– Кто ты?

– А сторож удельный. Изба моя неподалече, заходите, если не побрезгуете.

– Нет, благодарствуй. А что? Скоро прояснят?

– Прояснит, – ответил сторож уверенно, – Бог милостив.

В голосе его было столько ласкового спокойствия, будто не человек это говорил, а шумело дерево листьями. В лесах рождаются такие голоса, в широких степях, и нет в них ни злобы, ни страсти, утром они звонкие, в сумерках вечерние. Слушая их, чувствуешь, как во всем – и в камне, и в птице, и в человеке – одна душа.

Умиротворилось сердце Степаниды Ивановны, пропал у

Смолькова ночной страх, и долго еще слушали они, как, удаляясь, постукивал сторож палкой по стволам...

– Вот будто звезда проглянула, – сказал кучер негромко.

Дождь переставал; Степанида Ивановна, откинувшись вглубь коляски, улыбалась своим мыслям. Смольков вполголоса принялся декламировать французские стихи...

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Сегодня в двенадцать часов в монастырской церкви назначено было бракосочетание. Сонечка рано проснулась в белой своей постели и лежала, глядя на солнце, играющее на подоконнике и на полу. В окно неверным полетом влетели белые бабочки и вновь унеслись на свет. Сонечка перевела глаза и на стуле увидела приготовленное тонкое, в кружевах, подвенечное белье. Платье, заколотое в простыню, лежало около, и на нем стояла пара белых туфель. Вечером, ложась спать, Сонечка очень боялась увидеть поутру эти белые, приготовленные для нее вещи и долго не тушила свечи, думая об ужасных подробностях, рассказанных Степанидой Ивановной тогда ночью. Думы эти растравили ее и распалили; подобрав под себя колени, зарылась она с головой и уснула только на рассвете.

Но сейчас с радостью чувствовала себя ясной и спокойной; может быть, только в страшной глубине сердца у нее была как бы натянута струна.

Сообразив, что не стоит два раза на дню переодеваться, Сонечка спустила на коврик ноги и осторожно развернула шелковые чулки.

«Пожалуй, протрутся, – подумала она, – такая тонизна»; из тумбочки вынула ножницы и, подняв к подбородку колени, стала подстригать ногти на ноге, но не коротко, как обыч-

но, а округленно их выравнивая. Уличив себя в этом, Сонечка покраснела: «Вот глупости, кому это нужно», – и подошла к умывальнику. Здесь опять вместо ежедневного казанского мыла лежало в новой серебряной мыльнице французское... «Какое душистое», – еще подумала она и тщательно вымыла себе руки, шею и грудь.

Надела белье и остановилась в раздумье, – какое выбрать платье? Пока она так думала, вошла Люба, неся на обеих руках зеленое шелковое платье, в котором (Сонечка его сейчас же узнала) генеральша еще в молодости снималась.

– Ах, милая барышня, вы уж встали, генеральша вам этот туалет к утреннему чаю приказали надеть. Все еще спят, вы не торопитесь.

– Все равно, погуляю. – Сонечка покраснела и, с помощью Любы надев пахнущее старыми духами, шуршащее платье, вышла в сад.

Садовник поливал в клумбах георгины и отцветающие уже левкой и резеду. Сонечка ласково поздоровалась с садовником и осторожно, чтобы не оброситься, пошла по дорожке к пруду.

– Прощай, пруд, прощайте, мои липы! – сказала она громко и оглянулась – не подслушивает ли кто-нибудь. Но было совсем тихо, даже не кричали молодые и старые грачи – улетели на поля.

Сонечка села на скамейку, склонила голову немного набок и усмехнулась:

– Вы так и не пришли, а я выхожу замуж. До свиданья. Оставайтесь с вашей *высокой шляпой и черным плащом*.

Проговорив все это, она сломила соломинку и стала дразнить козявку, у которой на спине было нарисовано красными точками глупое лицо.

«Сколько этих козявок у нас дома». – И сердце Сонечки сжалось воспоминаниями милого, тихого детства...

Чай пили все по своим комнатам. Афанасий, состоя в этот день при Николае Николаевиче, сутился ужасно: чистил штiblеты, выколачивал платье; разболтал всем про какие-то необыкновенные подтяжки с колесиками у молодого барина. Несколько раз раздавался из окна голос Смолькова: «Афанасий!» – и Афанасий бежал, топя ногами так, будто без него вообще ничего не могло случиться.

Когда Сонечка вошла в генеральшину комнату, Степанида Ивановна стояла посреди чудовищного беспорядка. Повсюду валялись платья, белье, пахло духами, и, цапаясь клювом о клетку, кричал попугай. Брови у генеральши были подведены от переносицы почти до ушей, лицо пятнами обсыпано пудрой, в шиньоне торчал испанский гребень.

– Одеваться, мать моя! – воскликнула она. – Фу, как все делается не по-настоящему. Снимай платье, я тебя сейчас одену...

– Разве пора? – спросила Сонечка и на одну только минуту затрепетала. – Хорошо, я сейчас. – Генеральша помогла ей раздеться, оглянула и строго сказала:

– Ну, нет, это не белье. Люба, достань из шифоньерки – ты знаешь какие – с брюссельскими... Да поворачивайся, мать моя.

Затем, поворачивая Сонечку, трогая и разглядывая, генеральша забормотала:

– Здесь родимое пятно, это хорошо, на удачном месте. Я, признаться, думала, что ты кособокая. А это что? Софья! Ты по крыжовнику, что ли, ползала? Стыдно... Загар с рук сведи рассолом.

Затем, притянув к себе пунцовую от стыда девушку, генеральша шепнула ей на ухо такое, от чего Сонечка похолодела, ахнула и замерла, чувствуя – вот рухнет все призрачное ее спокойствие.

Но она превозмогла себя и, со слезами на глазах, стала глядеть в сторону, предоставив генеральше возиться и бормотать, сколько хочет.

С этой минуты все происходящее потеряло для нее значение. Как во сне, она оделась. Пошла в кабинет, где на коврик опустилась перед Алексеем Алексеевичем на колени; приняла благословение походным образом, с надписью от полка; поцеловала дрожащую, с синими жилами руку генерала; потом проделала то же перед генеральшей; вместе с ней села в карету и поехала в монастырь, где за оградой в деревянной церковенке должен был ее повенчать заштатный поп.

По дороге, глядя в окно, замечала каждый куст близ дороги. Узнала на Свиных Овражках флаг с изображением пету-



ха, поставленный иждивением Павлины, и улыбнулась. Ветка орешника со спелым орехом-тройчаткой задела ее по руке. У монастырских ворот поклонились две монашенки, как черные куклы. На песке, распушась, сидел глупый воробей, колесом его чуть не задело...

Сонечка сама отворила дверцу кареты, вылезла на паперть, помогла выйти генеральше и, под руку с нею, пошла по чистому половику, подбирая тяжелый шлейф. В церкви было ярко и зелено от листьев, льнущих извне к окнам. Солнце, разбитое на множество пыльных лучей, играло на золотом иконостасе. Сонечка вдохнула запах ладана и свечей и стала молиться.

Когда послышался шум в дверях, она догадалась, что приехал Смольков, угадала его голос, но, когда он, весь в черном, с испуганным лицом, стал подле, прошептав: «Здравствуй!», не узнала его и улыбнулась.

Священник начал обряд. Сонечка верила всей душой в совершающееся таинство. Когда приказали ходить, – словно полетела, не чувствуя пола под ногами. Рука ее не ощущала чужой руки, глаза не видели ничего, кроме огня свечи, и, когда махнули кадиллом, – вдохнула грудью ароматный дым ладана. Свет свечи, все увеличиваясь, разлился по всему ее телу, и кто-то сказал: «Невесте дурно».

Но она звала, что не дурно ей, а легко. Только боясь испугать добрых людей, решила она опуститься на землю и, стукнув туфелькой о плиту, почувствовала, как все тело по-

крылось капельками пота, рука Смолькова поддерживает ее и наклоняются странные его глаза.

Служба не прерывалась и скоро пришла к концу. Сонечку поздравили, а она все глядела на бледное лицо Николая Николаевича, думая: «Какой же он мне муж!»

В карете на обратном пути Смольков сказал особенным шепотом:

– Наконец-то, милая моя Соня! – и поцеловал ее в губы, а она, подняв брови, глядела, не отклоняясь, на эти такие близкие, странные и страшные сейчас, полузакрытые глаза мужа.

Генерал и генеральша, приехав первыми, встретили с образом молодых и повели к столу. Все громко старались шутить и смеяться. Сонечка, слушая их голоса словно издали, чувствовала ту же легкость, как в церкви, и не притрагивалась к еде. Шампанское пригубила и выпила весь бокал и попросила еще.

– Она трусит, поэтому пьет, – уверяла генеральша, слишком много смеясь. Поминутно чокалась она, проливая вино на скатерть.

Генерал сказал:

– Жаль, что музыки нет, я бы пошел трепака!

– Все равно, выводи, выходи, – воскликнула Степанида Ивановна, накачиваясь, вышла на середину комнаты и подняла платочек.

– Эх, старина! – крикнул генерал, вскочил и лихо затопал

ногами.

Генеральша покачнулась и, визгливо смеясь, упала бы, если бы не поддержал Смольков. Генерал продолжал топтаться... Сонечка, подперев щеку, глядела на них, и глаза ее были полны слез.

После обеда все, с тяжелыми головами, не отдыхая, начали слоняться по дому и не знали, что начать, потому что делать обычное казалось неловким.

В саду, около веранды, собрались дворовые а парии с девушками из села, – разодетые в кумачи... По настоянию генерала Николай Николаевич вынес им четверть водки, а Сонечка поднос, полный орехов и пряников. Девушки, став полукругом, прославили молодых, захлопали в ладоши и пошли плясать, подпевая:

Ах ты, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня, ду.  
Била Дуня Ваню колом на леду.

Выискался музыкант на жалејке и подхватил припев; тогда из толпы выскочил парень, схватился за шапку, крикнул и, загребая тяжелыми сапогами, пустился плясать.

Сонечка, отыскав глазами в толпе своего красавца парня, теперь добродушно смеявшегося пляске, подумала с грустью: «Минуло все это, минуло, прощайте».

К вечеру народ ушел, и долго еще с плотины слышались песни и девичий визг. В саду и на веранде стало тихо. Вздох-

нув, генеральша принесла шкатулку с фотографиями и показала портреты еще живых и давно умерших. Алексей Алексеевич в молодости был красавец. О каждой карточке рассказывала генеральша долгие истории.

Генерал в свою очередь принес военную карту и описывал поход через Дунай.

Так старики делали, что могли, развлекая молодых. Когда же сошла ночь и отпили последний чай на той же веранде, Степанида Ивановна сказала:

– Дети, проститесь с нами и подите спать. Люба вас отведет в вашу новую комнату, я своими руками постлала белье и приготовила все, что нужно.

Николай Николаевич скрылся незаметно. Сонечка так смутилась, что стояла посреди террасы, словно ища помощи у людей. Степанида Ивановна обняла ее и, ласково уговаривая, повела.

Генерал остался один, – задумчиво всматриваясь в тусклую, давно отгоревшую полоску заката, курил он трубочку и думал о невеселой своей жизни. Наконец вернулась жена, села близко около него и вдруг, вся собравшись в комочек, сказала:

– Алешенька, приласкай меня, ты уж давно меня не ласкал...

Генерал бережно обнял Степаниду Ивановну, прижал к себе и стал гладить по волосам...

– Вот мы и отжили свой век, – сказал он негромко.

Генеральша покачала головой.

– Не говори так, – нам еще много, много предстоит впереди. Ах, только сердце у меня очень ноет...

В нижнем окне правого крыла дома, против веранды, зажегся свет, – это была комната молодых с особой дверью в сад – бывшая гостиная.

– Свет у них, – сказала Степанида Ивановна. – Глупые дети...

– Мне показалось, будто вскрикнули, – после долгого времени спросил генерал, – ты ничего не слыхала?..

– Дай-то ей Бог, – прошептала генеральша. Спустя немного стеклянная дверь во флигельке звякнула, от стены отделился Смольков и быстро зашагал на длинных белых ногах через клумбы к веранде, говоря задыхающимся с перепугу голосом:

– Степанида Ивановна, помогите, моя жена без чувств, я, право, не понимаю...

Степанида Ивановна поспешно поднялась, взгляделась:

– Прикройте же по крайней мере, сударь, наденьте панталоны, – воскликнула она с негодованием.

# ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мокрые тучи заволокли небо, лишь вдали, у края степи, виднелся мутный просвет. Туда, к длинной щели под тучами, уходила черная разъезженная дорога. Пара почтовых лошадей тащила кое-как плетеный тарантас по дорожным колеям, отсвечивающим свинцовой водой. Ямщик покрикивал уныло. Кругом – мокрые жнивья, ровные поля, тоска, степь.

Николай Николаевич, закутавшись в чапан, залепленный сзади лепешками грязи, потряхивался в тарантасе и покачивался в ту сторону, куда покачивался тарантас. Нос его покраснел, душа была в глубочайшем унынии: ну и заехали! – мокрые тучи, мокрая голая степь, впереди тоскливый просвет, отражающийся в свинцовых лужах и колеях дороги, сутулая спина мужика на козлах да два лошадиных хвоста, подвязанные под самую репицу.

Рядом с Николаем Николаевичем потряхивалась на подушках Сонечка, тоже закутанная в чапан, в оренбургский платок. Молчит и думает. Молчит и ямщик, изредка подстегивая взъерошенную от мокрети, неопределенного цвета пристяжную. Молчит и Николай Николаевич, – еще бы! Не хватало еще и разговаривать среди этой безнадежной грязищи. И понесло же их из уютных Гнилопят через всю Россию – с пересадками, вонючими вокзалами и вот теперь на поч-

товых – в это захолустье к какому-то скучнейшему старику, Илье Леонтьевичу. Какая была надобность? Высказать родственные чувства? Родственные чувства обычно высказываются с гораздо большим успехом в телеграмме или в письме. Сыро, ногам холодно, от тряски болит голова, половинки отсиделись. Вот она, расплата за легкомыслие! Сейчас бы в Петербург! Господи! Посидеть бы хоть с полчаса в парикмахерской у Жана! Никогда, никогда ничего больше не будет, кроме этой дороги куда-то к черту, в щель под тучами!

– Соня, долго нам еще ехать? – спросил Николай Николаевич.

Сонечка отогнула воротник чапана, взглянула на мужа, – личико у нее было бледное, на щеке лепешка грязи, – оглянулась на степь.

– Мы еще Марьевку не проехали, – сказала она негромко и кротко, – проедем Марьевку, направо будет Хомяковка, а налево – Коровино, оттуда уже близко.

– Доедем, – сказал мужик на козлах, не оборачиваясь.

Николай Николаевич надул щеки и по крайней мере минут пять выпускал из себя воздух, – торопиться было некуда.

Наконец проехали Марьевку, увидели направо обветренные соломенные крыши Хомяковки, налево – ометы, соломенные крыши и одинокую на юру ветреную мельницу Коровина. Сонечка начала волноваться, распахнула чапан, щеки ее порозовели; из-под горки поднимались поредевшие старые ветлы, желтые кущи сада, блеснула свинцовая вода

длинных пруда», отразивших тучи.

– Репьевка, – сказала Сонечка, указывая на ветлы, на краснеющую за ними крышу деревянного дома.

Ямщик подстегнул взъерошенную пристяжную, прикрикнул: «Но, милая, выручай!» Покатали под горку, проехали мягкую плотину, где пахло вянущей листвой и сыростью пруда, встретили кучу грязных и охрипших от злости собак и остановились у крыльца, заехав колесом на цветочную клумбу.

Дощатый обветренный фасад дома с деревянными колоннами и с разбитым слуховым окошком посреди треугольного портика, замаранного голубями, был обращен к белесоватой щели в небе.

Сонечка выпрыгнула из тарантаса и, путаясь в полах чапана, взбежала на крылечко, за ней поплелся Николай Николаевич. Толстое бабье лицо метнулось за окошком, и пошли скрипеть двери. Сонечка звонко крикнула:

– Анисья, где папа?

– В саду, милая барышня, здравствуйте, с приездом...

Илья Леонтьевич с утра возился в саду. Мелкий дождь моросил на седую его бороду, на черную безрукавку, на сизую траву вокруг, на опадающие золотые листья берез. Налегая ногой на лопатку, покряхтывая, Илья Леонтьевич перекапывал розовый куст. Когда лопатка задевала за корень, он морщился, опускался на колени и пальцем отковыривал



корешок, бормоча по давнишней привычке вслух:

«Терпение можно испытывать лишь до известней границы, далее – я могу впасть в раздражительность, и это дурно. Но если это дурно, все же не значит, что я не могу быть раздражителен».

Скверное настроение у Ильи Леонтьевича началось неделю тому назад по ничтожному поводу. Еще летом он послал племяннику своему Михаиле Михайловичу, по его просьбе, свой, лет двадцать лежавший в сундуке, дворянский мундир с золотым шитьем, совсем новешенький. Дворянские выборы давным-давно прошли, но Михаила мундира назад не присылал. При встрече Илья Леонтьевич не мог глядеть в глаза племяннику и сердился на него и на себя за мелочность. Хотя мундир Илье Леонтьевичу был совершенно не нужен, все же неделю тому назад он послал за ним нарочного, который и привез мундир, но не тот, что Илья Леонтьевич дал этим летом Михаиле поносить, а какой-то весьма поношенный мундир с обшарканным шитьем. Тогда Илья Леонтьевич написал Михаиле:

«Я оставил тебе мундир поносить, а ты прислал мне взамен какие-то скверные обноски. Мне обидно не то, что ты взял мой мундир, прислав негодный, а обидна эта манера, взгляд на вещи; также и то, особенно, что ты, обидев меня, сам же меня считаешь мелочным, что и высказывал Анне Аполлосовне, и даже смеялся, представляя в жестах, как, будто бы я, надев мундир, расхаживаю один по дому... По-

вторую, что мундир мне не нужен и расхаживать в нем я не собираюсь, тем более – потешать других, но прошу тебя все же мой мундир вернуть в целости, а присланный тобою, обшарканный, отсылаю...» И так далее и так далее...

Досадовал Илья Леонтьевич на всю эту историю и не мог найти в себе ни подобающего спокойствия, ни душевной тишины. А нынче ночью к тому же и видел во сне Михаилу, – стоит будто бы он в новом мундире, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и показывает язык.

Отковыряв пальцем раздражавший его корень розы, Илья Леонтьевич, кряхтя, вытащил из ямы куст, обил землю и завернул его в рогожу.

В это время в саду появилась Анисья, крича еще издали: – Илья Леонтьевич, барышня приехали!

Это уже было ни на что не похоже: внезапно, не известив, свалиться как снег на голову.

Подходя к дому, Илья Леонтьевич увидел, как ямщицкий тарантас съезжал с цветочной клумбы и лохматая пристяжная походяхватила зубами ветку недавно посаженного тополя, на котором еще не осыпались желтые листья...

– Разбойник, – закричал Илья Леонтьевич, – что ты мне весь палисадник вытоптал!

Ямщик покосился на сердитого барина и, пристегнув лошадеенок, ни слова не отвечая, уехал. На лестнице, на крыльечке, в лакейской, – повсюду на чисто вымытых сосновых старых полах увидел Илья Леонтьевич лепешки грязи...

«Дом в конюшню обратили», – подумал он, еще сильнее раздражаясь на то, что вот приехала дочь с мужем, а он только и знает, что сердится на мелочи.

Илья Леонтьевич пошел к себе в спальню за занавеску, вымыл в рукомойнике руки и лицо, расчесал влажную бороду и вышел в столовую, где слышался запах дорогого табачного дыма.

Сонечка сидела на диване, – было на ней незнакомое (Илья Леонтьевич осудительно подумал: «из Парижа, чай, выписали») шелковое платье, шелковые чулочки, тоненькие башмачки копытцами, лицо похудевшее, чужое, волосы подобраны неестественно, – чистая кукла! Николай Николаевич стоял у окна, глядя через заплаканные стекла на умирающий сад. Голова у зятя была огурцом, с плешинкой, спина унылая. «Фертик», – подумал Илья Леонтьевич и сейчас же с отвратностью подавил в себе гадкую мысль. Сонечка, увидев отца в дверях, легко вскрикнула, подбежала на каблучках-копытцах. Илья Леонтьевич расцеловался с дочерью.

– Папа, мой муж, – она указала глазами и улыбкой на почтительно, почему-то даже с оттенком некоторой скорби, кланяющегося Николая Николаевича, затем, умоляюще глядя в глаза отцу, так вдруг покраснела, что выступили слезы.

Илья Леонтьевич обнял зятя, – поцеловал в висок.

– Ну, – сказал он со вздохом, – поздравляю, рад, рад. Спасибо, что приехали... Садитесь.

Он сел на старенький кожаный диванчик, Сонечка робко

присела отцу под крыло, Николай Николаевич сел напротив, нагнул голову.

Сквозь заплаканные стекла едва теперь был виден сад, весь мокрый и серый в тумане, за пеленой отвесного дождичка. Полукруглые окна вверху были затянуты паутиной. Казалось, пыльная эта паутина висит во всех темных углах столовой, во всем репьевском доме.

Сонечка стала рассказывать, – вкратце и немного сбивчиво, как урок, – о свадьбе, о Гнилопятах, о генерале и генеральше, о поездке. Илья Леонтьевич кивал бородой, вынул из кармана и вертел в пальцах тавлинку с нюхательным табаком.

– Жалею, жалею, – сказал он, – хотел быть на свадьбе, но не мог: дорога тяжела, расходы большие и хозяйство не на кого было оставить. Да вы, по правде сказать, и без меня хорошо обошлись. Не сетую, не сетую, – новое поколение, новые нравы... Вчера познакомились, а сегодня уж и обвенчались, а завтра и разъехались по сторонам... В шутку это говорю, да, да, шучу. – Он захватил щепоть крупной крошки французского табачку, прищурил правый глаз и нюхнул, затем узловатыми пальцами слегка отряхнул бороду. – Шучу. Рад, что приехали. Ну, как же вы думаете начать жить?

Николай Николаевич моргнул несколько раз, затем сделал неопределенный жест... Глаза у него слипались от сумерек, от скучнейшей этой беседы, от усталости после дерюги.

– Мой дядя определенно обещал мне пост в министерстве

иностранных дел, – сказал Николай Николаевич. – Вот вы нас здесь побалуете несколько дней, потом поедем.

– Что же так? Несколько дней? Я не гоню, живите, куда можно.

– Нет, нет, мы здесь проживем, – поспешно сказала Сонечка. – Знаешь, Николай, как хороню здесь будет осенью: заморозки, иней, хрустальный воздух. Длинные вечера, беседы... Будем вслух читать...

Николай Николаевич странно, пустыми глазами посмотрел на жену, – она опустила голову.

Ильи Леонтьевич сказал после некоторого молчания:

– Жить в деревенской глуши – надо иметь привычку. Ежели вы, – он из-под бровей уставился на зятя, – ищите поминутных развлечений, – деревня вам покажется скучна. Здесь не найдете ни суетливых улиц, ни гостиных с пустой болтовней, ни развращающих душу и тело ресторанов. Но вы найдете здесь тишину, укрепляющий труд, суровую справедливость действительности. Вот все мои родственники – та же Соня, тот же племянник Михаил – думают, что я все хандрю и сержусь. Неправда, – по натуре я не хандрун, у хандруна в глазах потемки, я же вижу ясно и полагаю, что глупо считать меня за ворчуна. – Борода у него затряслась, он опять нюхнул табачку. – Все мы подвержены слабости и падению. Мы не хотим, мы страшимся понять, что все окружающее, равно как и все находящееся внутри нас, дано не нам одним, но и нашим предшественникам и будущим поколениям. Мы

лишь приказчики наших сокровищ. Мы лишь ответчики за большее или меньшее радение о нашем имуществе. От непонимания этой суровой истины – все наши пламенные желания, вся жажда наслаждений, для которых нужны деньги и деньги, – накопление и вновь расточение. Оттого и вечное недовольство, помрачение рассудка, слепота...

«Эге, – подумал Смольков, – старик-то вон куда гнет... Нет, брат, на эти штуки меня уже ловили, шалишь».

– Пример я беру, – продолжал Илья Леонтьевич, – скажем, есть у меня мундир с золотым шитьем, в полной сохранности. Должен я его швырнуть какому-то шалопаю на ветер, или я должен его сохранить, беречь, ибо я его временный владелец? – Илья Леонтьевич сильно запустил в нос две понюшки. – Можно, разумеется, представить, что старик выжил из ума и по вечерам разгуливает в мундире по пустым комнатам... Да, да, мне мундир не нужен, – пускай его носят на здоровье, – важен принцип...

Николай Николаевич, сморщившись, старался понять: в чем тут дело, о каком мундире говорит Репьев? Но так и не понял, – мигреновой болью вдруг разболелся затылок. А Илья Леонтьевич все продолжал говорить, путано и сложно, – сам себе отвечал на мысли, ворчал и нюхал табак.

А за окном лил и лил дождик на примятую траву, на рыхлые клумбы, – шумел в водосточных трубах.

Николай Николаевич давно уже перестал слушать. «Действительно, ничто другое здесь и не придет в голову челове-

ку, – подумал он, – тоска, мокреть, от самого себя стошнит».

Наконец Анисья внесла самовар, стреляющий искрами из решетки, и вздула лампу над белой скатертью круглого стола. В комнате стало уютнее, – дождь и сырость ушли за окна... Илья Леонтьевич сунул тавлинку в карман и сказал, подымаясь с диванчика:

– Прошу, чем Бог послал.

# ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вторую неделю доживали молодые Смольковы в Репьевке. А дождик, не переставая, лил и лил, – мелкий отвесный. Сырость и скука проникли во все углы репьевского дома. В штукатуренных стенах повсюду торчали гвозди; на диванах, на просторных креслах лежали пыльные связки картин, портретов и книг; под диванами, под ножками кресел стояли заколоченные ящики. В иных комнатах никогда не отворявшиеся окна были так затянуты паутиной, что едва пропускали свет. Станный был этот дом.

Лет пятнадцать тому назад, когда внезапно умерла Марья Аполлосовна, Сонечкина мать, Илья Леонтьевич в безмерном отчаянии решил было навсегда покинуть усадьбу – переехать в город. Картины, книги, вещи были уже упакованы в ящики, – но как-то так вышло, что не переехали. Часть вещей снова поставили на свои места, а часть так и осталась лежать в ящиках и на диванах. Несколько раз Илья Леонтьевич заговаривал с дочерью, что хорошо бы привести дом в порядок, развязывал пачку портретов, задумывался над ними и клал их на старое место. Но сейчас, по случаю приезда молодых, все же прибрали наверху две комнаты – спальню и горенку, где супруги могли без помехи с глазу на глаз проводить время. Супруги время проводили однообразно: вставали поздно и в кроватях кушали остывший чай, спускались



вниз только к завтраку, когда Илья Леонтьевич, насуетившийся спозаранку по хозяйству, уже сидел на своем месте – на кожаном диванчике – и поварчивал в бороду.

После завтрака Сонечка вместе с Анисьей занимались переборкой старых вещей – носильного платья, белья, кружев, лежавших в ящиках огромных комодов. Николай Николаевич бродил без определенного занятия по комнатам, – курил, глядел в окошки или свистал, заложив пальцы в кармашки полосатого коричневого жилета. Илья Леонтьевич уходил соснуть. Затем пили чай. Затем сидели в сумерках, – любимый час Ильи Леонтьевича, когда он, понюхивая табачок, заводил обычно длинную беседу о предметах высоких и отвлеченных. Затем – ужинали и расходились по своим комнатам до следующего утра.

Днем и ночью шумел дождь в водосточных трубах. Николай Николаевич бродил по дому, поглядывал на углы, где висела паутина. Такого уныния он еще не испытывал в жизни. В ожесточенной душе его зрело отчаяние.

– Коленька, может быть, ты почитать что-нибудь хочешь? Вот, я взяла у папы «Вестник Европы», – сказала Сонечка, с тревогой всматриваясь в бледное в сумерках лицо мужа, сидевшего у стола перед недопитым стаканом чая.

– Уволь, пожалуйста, от твоего чтения, – сказал Николай Николаевич. – Твой отец очень странный человек, я нахожу. Да, да, очень странный.

Сонечка положила книгу, села у стола.

– Что случилось, Коленька?

– В том-то и дело, что здесь ровно ничего не случается.

Голос его как-то даже особенно зазвенел. Николай Николаевич взял со стола книгу, раскрыл, закрыл.

– Прислал «Вестник Европы»... Ха, ха... Может быть, мне также четьи минеи надо читать? Я совершенно серьезно начинаю подумывать, не заняться ли искусственным выведением цыплят или, например, поступить в сельские учителя... Из меня бы вышел достойный местный деятель...

Николай Николаевич швырнул «Вестник Европы» под диван, отошел к окну и, сунув пальцы в карманы жилета, зашвистел мотивчик:

Папиросочка, мой друг,  
Ты меня пленяешь,  
Сон навеваешь,  
Люблю тебя всей душой,  
Всею душой, да.

После того как песенка о папиросочке была спета, Сонечка сказала чуть слышно:

– Я давно заметила, что ты сердиться на папу... Я не знаю, что у вас произошло... Но я знаю – папа нам хочет только добра...

– Папа хочет! – воскликнул Николай Николаевич, с яростью оборачиваясь. – Папа хочет, чтобы я выучился доить коров и так далее. Да-с, это он мне сам вчера заявил в ви-

де аллегории. Папа хочет сделать из меня высокоморального человека, второго Франциска Ассизского... А денег нам на поездку в Париж давать не хочет!..

– Коля!

– Что Коля? От этих – двадцать четыре часа в сутки – разговоров под дождик о душе и всемирной любви меня тошнит и рвет...

Николай Николаевич выпуклыми глазами уставился на Сонечку, – под его взглядом ей стало холодно спине, упало сердце.

– Я раздражен, да-с. Мало того, – я в крайнем возмущении. Только скупые старики и старые, истерические бабы могут разглагольствовать о величии души, о любви в шалашах, о разных Эдипах и прочей омерзительной гадости... Но ты – моя жена, ты не должна способствовать этому жалкому надувательству... Ты должна понять, что я светский человек, а не пастух... Я хочу жить, а не торчать целые дни носом в мокрых окошках... Нам нужны деньги... Мы должны успеть к началу сезона быть в Париже... У меня есть план страшно выиграть в Энгвиен в рулетку... В декабре мы должны вернуться в Петербург... Но всяком случае – я должен, я это сделаю, черт возьми!

Он повернулся на каблуках, фыркнул носом и выбежал из столовой. Сонечка осталась сидеть у стола, опустив на кулачок голову. Ею овладело оцепенение, истинная грусть. Твердо и ясно проговорила она те слова, о которых раньше боя-

лась и думать:

– Не любит меня, никогда не любил.

Все это время, с первой встречи со Смольковым в Гнилопятах, жила Сонечка как бы в забытьи, – в ней все было при-тушено и заглушено. Генеральша – тогда ночью со свечою – нагнала на Сонечку ужас и разбудила любопытство. Смольков использовал его. Сонечка смутно чувствовала, что отношения ее с женихом – а затем с мужем – «совсем не то», но не знала, что же «то», и лишь всеми силами души стремилась наградить Николая Николаевича качествами необыкновенными, прекрасными, возвышенными, и самой быть такою, какую он хотел, чтобы она была.

Минутами ей дико казалось ощущать себя – новую: все в ней было новое, чужое, не пролюбованное – платье, белье, башмаки, движения, голос, запах волос (раньше она думала, что завиваться и душиться – дурно). Бывали минуты, когда в ней поднималось тошненькое отвращение к этому новому существу. Но она повторяла: «Так нужно, так хочет Коленка».

Правда, первая же свадебная ночь едва не окончилась катастрофой. Николай Николаевич, когда их оставили, наконец, вдвоем во флигельке в саду, не говоря ни слова, даже не лаская, только ужасно вдруг побелев, приблизил к Сонечке страшное лицо свое – выпуклые, остекленевшие глаза, трясущиеся губы, – хрустнул зубами и повалился вместе с же-

ной на кружевную постель.

Сонечка молча слабо сопротивлялась. Было так, будто ее убивают. Упала, погасла свеча. Невидимый зверь рвал на ней кружева, зарывался зубами, холодным носом в шею. Кончился этот ужас глубоким обмороком молодой женщины.

Затем прибежала генеральша, поила Сонечку каплями, прикладывала припарки, с кривой усмешечкой, шепотком на ушко спрашивала об ужасном и стыдном.

Николай Николаевич, крайне недовольный всей этой возней с припарками, бродил в саду и громко чихал, так как в эту ночь выпала обильная роса.

В первые дни Сонечка думала, что сойдет с ума от страха и отвращения, – сама себе казалась растоптанной, как кошка, попавшая под колесо. Но вот – с ума не сошла и плакать перестала. Николай Николаевич был весел и даже шутлив, нежны и ласковы – генеральша и генерал.

И уже Сонечка вновь корила себя за то, что глупая, за то, что – неумелая жена. Быстро мелькнула послесвадебная неделя в Гнилопятах. Николай Николаевич сам настоял на поездке к тестю. Прощанье было грустное, – генеральша расплакалась, стоя на крыльчке, в тоске подняла глаза к небу, где в осенней синеве улетал клин журавлей. Алексей Алексеевич вытирал глаза малиновым платком:

«Прощайте, дети, дай бог вам счастья, живите долго. Увидишь отца, – кланяйся ему, Сонюшка, обними. Видно, уж нам не увидаться с ним. А жаль, хороший старик... Напомни

ему, как мы в шахматы играли».

В дороге Николай Николаевич был несносен, – капризничал, сердился, жаловался на желудок и на сквозняки. У Сонечки точно оторвалась душа после прощанья на крылечке с генералом и генеральшей. От духоты вагона, от табачного дыма, от визгливого голоса Николая Николаевича болела голова, – это были будни, настоящая жизнь. Ах, журавли, журавли в осеннем небе над Гнилопятами!

И вот здесь, в отцовском доме, под шум дождя, в сумерках разоренных комнат, где торчали гвозди, висела паутина, Сонечка почувствовала, что далее не может притворяться и лгать себе и ему. С печалью и твердостью сказала она: «Не любит, и я не любила и не люблю его».

Она вздохнула, заложила руки за спину и пошла в библиотеку, где было слышно, как чиркал спичками Николай Николаевич.

В библиотеке вдоль трех стен стояли черные высокие шкафы, полные ветхих книг. Пахло мышами и книжной плесенью. В каминной трубе, с давних времен заткнутой вороньим гнездом, подвывал ветер. Николай Николаевич сидел на библиотечной лесенке, зажмурив глаза от дыма папироски.

– Знаешь, здесь пять тысяч книг и все – духовно-нравственного содержания, – сказал он и швырнул книжку в кучу книг на полу. – Скажи – сделай милость, – что за люди здесь жили? Отшельники? Или их всех, что ли, отсюда живыми на небо брали?

– Эту библиотеку начал собирать прадедушка, Илья Ильич, масон, – сурово ответила Сонечка. – Он был возвышенный и образованный человек, мы чтим его память. Таким же был и дедушка, такой же и отец. Николай, можно тебя отвлечь на минуту? Я бы хотела спросить об очень серьезном...

Сонечка, заложив руки за спину, смутным очертанием ходила вдоль окон, за которыми повисли тяжелые, мокрые ветви сосен. Николай Николаевич чиркнул спичкой, усмехнулся, сказал:

– Ого, это что-то новое у тебя.

– Я хочу спросить, Коленька... Мы живем вместе, целуемся, смеемся, вот теперь – скучаем. Но я не знаю – любишь ты меня? – Сонечка приостановилась, как бы прислушиваясь к этим новым для нее словам, к спокойному, твердому, тоже совсем новому голосу. – Я хочу сказать, – нужна ли я тебе душевно? Конечно, если бы я тебе совсем не нравилась, ты бы не был моим мужем... Нет, я хочу спросить, – любишь ли ты меня, именно меня... Есть ли у тебя хоть немного жалости ко мне?

Николай Николаевич молчал. Сонечка пронзительно всматривалась, – кажется, он опустил глаза, кажется – жалобно, жалобно у него задрожали губы. И вдруг ее самое пронзила жалость к этому в сумерках сидящему на лесенке человеку. Сонечка стремительно схватила его руку. Но он руку освободил, отошел к пыльному окну и сказал:

– Дорогая, мы не дети. Нужно жить реальностью, а не фантазиями. Подобных разговоров просил бы не возобновлять. Ты не глупа, мой друг, и отлично понимаешь, что я прискакал из Петербурга и женился на тебе лишь в крайнем отчаянии. – Он поднял руку, останавливая ее восклицание. – Я был принужден обстоятельствами, на шее у меня висела петля. Если бы ты была уродом, – и тогда бы я на тебе женился... К счастью, ты оказалась хорошенькой. Ты очень миленькая женщина... В чем же дело? Просто, в этом мне на этот раз повезло... Ты видишь перед собой человека, который совершенно искренне доволен... Что же еще тебе нужно? Чтобы я лгал о «духовном общении», «сродстве душ», влез в халат и елейным голосом читал бы «Отцов церкви» по вечерам?... Я не сутенер, я себя не продавал...

– Николай, ради Бога, что ты говоришь!..

– Пожалуйста, без этих «ради Бога»... Я же ведь не спрашиваю – для чего ты вышла за меня... Отлично знаешь, что у меня ломаного гроша за душой нет... Нечеловеческой красотой не блистаю... Вышла потому, что срок пришел, нужен мужчина... И вообще все, что произошло, – вполне естественно, нормально и прилично... Но уж когда мне вместо денег, на которые я имею право, обещают загробное блаженство, требуют от меня сродства души, при этом же считают меня прохвостом, – это, дорогая моя, свинство и шулерство. Этого я повторять не перестану, покуда твой отец не даст мне денег, вексель, закладную, – плевать, все равно...



Он слез с лесенки, фыркнул и вышел, но на этот раз уже не засвистал про папиросочку. Сонечка опять осталась одна. Безднадежное омерзение, как мрак, опустилось на ее сердце. В окна дребезжал дождик, ветер подвывал в трубе, заваленной вороньим гнездом. Ох, если бы можно было содрать с себя всю опоганенную кожу!

Смольков был мудр во всем, что касалось удовольствий, – поэтому перед сном всегда мирился с той женщиной, с которой ложился в постель.

Так намеревался он поступить и с Сонечкой в вечер разговора в библиотеке. Ужин прошел в молчании. Илья Леонтьевич дремал, намаявшись по хозяйству. Сонечка сидела как истукан, опустив глаза, – не притрагивалась к еде, щипала корочку хлеба. Николай Николаевич покушал обильно. Наливая себе из графина воды, подмигнул и сказал:

– А ведь чертовски вкусный напиток – вода. Еще немножко – и я привыкну пить воду.

Сонечка подняла брови. Илья Леонтьевич сказал хрипавато и сонно:

– Вино разрушает организм и вместе с ним духовный скелет человека, вода же полезна.

Николай Николаевич подтвердил, что действительно вода полезна, но разговор не наладился. Тогда Смольков простился с тестем, пристально посмотрел на Сонечку и пошел наверх. Разделся, надушился, лег в постель и с удовольстви-

ем закурил папиросу. Сонечка не шла. Он выкурил три папироски. Черт знает, что такое! Сидят, наверно, с отцом на диванчике и тянут мистическую резинку!

Лежа и куря, Николай Николаевич стал припоминать все несправедливости, испытанные им за эти дни в Репьевке. Возмутительно! Обращаются с ним, как с малолетним преступником! Спит – значит грех. Ходит – грех. Курит – грех. Раскроет рот – грех, ужасно, преступно! Тьфу! Наняли раба! Купили мужа за ломаный пятак!.. Отвратительнее всего было то, что в кошельке Николая Николаевича оставалось только три рубля тридцать копеек. «Пять тысяч томов, – подумал он. – Если бы старик вдруг сегодня ночью помер, – продать бы эту библиотеку: полгода беззаботной жизни в Париже!» Николай Николаевич стал представлять, как тесть, Илья Леонтьевич, проглотит дробинку от дичи, дробинка попадет в слепую кишку, – ну, конечно, старику – крышка... И вот – все перевертывается в жизни... В половине десятого – прогулка верхом по Булонскому лесу. В одиннадцать Николай Николаевич переодевается к завтраку. Идет пешком в кафе Фукьетц на Елисейских полях. Садится на воздухе, – палка между ног, шляпа на затылке, в петлице – фиалка. Гарсон наливает коктейль «Мартины». Мимо бегут девчонки. Плывут струи духов, сверкают глаза из-под огромных шляп, мелькают крепкие ножки. Он бросает мелочь гарсону, кладет трость на плечо и идет – куда? К Лярю? Нет, к Грифону. Маленький ресторан, диваны красной кожи, посредине

– тележка с гигантским блюдом, покрытым серебряным колпаком, – гордость дома Грифон, единственное в мире фотифиле! Черт! А вечер! Тугая рубашка фрака, шелковый цилиндр, надвинутый глубоко! Огни, огни и пахнувшая ванилью и пудрой золотая пыль Монмартра. Черт, – и все это решает ничтожная дробинка...

Послышался скрип винтовой лестницы и – шаги жены. Николай Николаевич погасил окурок и сделал сладенькое лицо. Сонечка вошла, не взглянув на мужа, присела к туалетному зеркалу и не спеша стала вынимать шпильки из волос.

– А я заждался. Где ты пропадала? – спросил Николай Николаевич и, опершись о локоть, исподволь завел разговор о мужском самолюбии, о лишних словах, сказанных в гневе, о честности прежде всего и о вреде романтики и мистических настроений. Голос у него был бархатный.

Сонечка медленно чесала волосы перед зеркалом, – не отвечала и не слушала. Как давеча сжалось сердце, так и не отпускало, – холодная лень овладела ею. Она заплела волосы в косу, поднялась и зашла за распахнутую дверцу платяного шкафа, расстегивая платье и раздеваясь.

– Ну, детка, это глупо, – оказал, вытянув губы, Николай Николаевич, – иди же ко мне... Ты знаешь, как я люблю тебя голенькую.

Он потянулся и захлопнул дверцу шкафа. Сонечка со злобой вскрикнула, прикрылась рубашкой. Он все же поймал ее за локоть, но она резко выдернула руку и стала вдруг такой

ненужной и некрасивой, что Смольков дернул на себя одеяло, повернулся спиной.

– Ну, и убирайся! Холодная лягушка! Деревяшка!.. Подумаешь – одна-единственная. Ханжа!

Он с яростью задул овечку. Сонечка легла рядом, с самого краю, вытянула руки поверх одеяла и стала глядеть в темноту. Она знала, что не заснет всю ночь, и приготовилась лежать терпеливо.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Николай Николаевич, несмотря на всю видимость, был робок, а теперь, когда денежные средства его не превышали трех рублей тридцати копеек, впал также и в нерешительность.

Чего, казалось, проще – поговорить с тестем о деньгах? Но у него сердце замирало. А вдруг под каким-нибудь предлогом старик откажет! Кошмар! Николай Николаевич подталкивал Сонечку на разговор с отцом (этим и объяснялась сцена в библиотеке). Но Сонечка была, как известно, глупа и не могла понять, что только от денег сейчас зависит и ее и его счастье. А тесть помалкивал.

Над садом, над мокрыми ветлами лежало беспросветное небо. Земля, не принимая больше влаги, взбухла и стала оползать на неровностях дорожек и клумб. Николай Николаевич продолжал слоняться по дому, барабанил ногтями в стекла, но, конечно, такая жизнь могла убить кого угодно. В крайне нервном состоянии он ждал подходящей минуты для разговора с хитрым стариком.

И вот минута эта наступила. День начался, как обычно. Сонечка встала рано и поспешила спуститься в столовую, где Илья Леонтьевич, согнувшись над своей чашкой, пил чай с горячими лепешками. Сонечка поцеловала отца в руку и в висок и села напротив.

– Анисья просила выдать сахару и крупы, – ты дашь ключи, папочка?

Илья Леонтьевич полез в карман, выбрал связку ключей, не спеша отыскал ключ от кладовой и подал его вместе со всей связкой Сонечке.

– Одну ее все-таки не оставляй в кладовой, сама запри дверь. Сахару идет, я тебе скажу, ужасно много у нас. Не в сахаре, конечно, дело, но чрезмерное употребление его вызывает в организме отложение солей и жиров. Ну, да бог с ним, с сахаром. Как спала?

– Спасибо, хорошо.

– У вас все благополучно, значит?

– Спасибо, да...

– Ну, ну, а то я смотрю, как мыши на крупу оба надулись... Вставать нужно раньше и раньше ложиться – в этом вся сила, скажи это мужу-то... А то – спит, как медведь.

– Скажу.

Сонечка собрала в ладонь крошки на скатерти и ссыпала их в чашку. Илья Леонтьевич, кряхтя, поднялся со стула. Он и Сонечка надели резиновые плащи, калоши и вышли на двор. Илья Леонтьевич сейчас же заметил беспорядки около каретника и пошел туда, повторяя в досаде:

– Ах, кляузники! Ах, чертя окаянные!

Сонечка побрела к пруду, мутному сейчас и полноводному. Тихо, тихо шумел дождь по воде, по ветвям огромных, корявых осокорей, по вянущим листьям под ногами.

Сонечка смотрела на пруд, на еще зеленые бережки, слушала однообразный шум дождя, вдыхала запах увядания, и душа ее в этой печали словно набиралась сил для большей беды.

Возвращаясь домой, продрогшая, с капельками дождя на волосах, полуприкрытых капюшоном, Сонечка увидела у крыльца работника, гонявшего сегодня на почту, и взяла у него «Вестник Европы», газеты за три дня, бандероль – семейный каталог и – на имя Н. Н. Смолькова – телеграмму и письмо.

Николай Николаевич, только что поднявшийся с постели, сидел в столовой, курил и зевал до слез.

– Тебе, – сказала Сонечка, положив перед ним телеграмму и письмо, и пошла наверх. У Смолькова собралась кожа на лбу, некоторое время бессмысленными глазами глядел он на телеграмму, затем осторожно разорвал заклею, повернулся к свету и прочел:

«Назначен Париж посольство вторым секретарем  
точка поздравляю браком обнимаю точка Петербург не  
заезжай Ртищев...»

– Ура, – шепотом сказал Николай Николаевич, – ура! Свободен! Жизнь! Париж!..

Он пробежался по комнате, глубоко засунув кулаки в карманы штанов. Затем неслышно, на цыпочках, принялся лягаться ногами вбок, вернулся к столу, взял письмецо, с любопытством повертел, понюхал, – гм! – распечатал, – кара-

кулями было написано:

«Я слышала – ты женился, – дурак. А вот мне Викторчук – шулер – выиграл в игорном доме двенадцать тысяч, – я их моментально положила на сберегательную книжку. И Викторчука я бросила, потому что он скотина. Люблю тебя, *прямо помираю*. Третьего дня мы в одной компании напивались, в рояле устроили аквариум, налили туда пива и напустили сардинок, – вот было смеху, у Шурки Евриона – корсет лопнул. Приезжай скорей, – женатый, вот свинья! Жене письмо не показывай. Целую тебя незабвенно.

*Мунька*».

Старым, разгульным временем пахло на Смолькова от записочки Муньки Варвара. «Вот это – люди, жизнь! Вот эта женщина любит меня. Зверюга!»

Сонечка сидела на полу перед выдвинутым ящиком комода и перебирала старые платья. В комнату ворвался Николай Николаевич, потрясая телеграммой.

– Сонюрка, ура! Назначен в Париж... Смотри, читай, – вторым секретарем, через год – первый секретарь, затем советник посольства... Когда поезд? Нельзя ли нам еще сегодня отсюда уехать?

Сонечка прочла телеграмму и опять нагнулась над ящиком с прабабушкиными вещами.

– Собираться нам – полчаса. Некоторая задержка только за... папой (он впервые так назвал Илью Леонтьевича). По-



нимаешь, – я готов здесь хоть всю зиму прожить, но долг, долг: мы все обязаны служить государству!

Сонечка опустила на колени кружевной чепчик, подняла голову, (взглянула на Николая Николаевича. Глаза у нее были синие, спокойные.

– Я не поеду с тобой, Николай...

– То есть – как?.. Ну, да, – ты хочешь сказать, чтобы я ехал вперед... Гм... Это имеет некоторый резон... Я, так сказать, скачу передовым, устраиваю дела (надо же осмотреться), мебелирую квартиру... В ноябре – декабре ты приезжаешь в Париж, прямо в свое гнездышко... Но как я буду тосковать по тебе! Детка моя...

– Нет, Николай, я совсем не поеду в Париж...

– Почему?..

– Я не люблю тебя.

– Постой, постой! – Он замигал рыжими ресницами, вдруг изменился в лице, провел рукой по лбу. – Ну да, ты – о том разговоре в библиотеке. Чепуха, мелочи! Я люблю тебя, *прямо помираю*. У тебя прескверный характер, должен тебе сказать. Молчишь, и вдруг – бац! Сонюрочка! – Он нагнулся и поцеловал ее в пробор. – Ну, моя детка незабвенная. Поди поговори с папой.

Упрямым движением она освободила темя от его поцелуя.

– Я не люблю тебя. Уезжай, куда хочешь.

Николай Николаевич молча стоял за ее спиной.

Сонечка глубоко засунула руки в ящик, вытащила кучу

шуршащих платьев, положила их на колени. Ее затылок с чистеньким пробором в русых волосах был упрямый и неподкупный.

– Я понимаю – у тебя настроение. Но настроение настроением, а мне нужно ехать к месту службы. Прошу тебя, Соня, поговори с отцом, – у меня три рубля тридцать копеек...

– Я не люблю тебя, Николай, – в третий раз тихоньким, но твердым голосом сказала Сонечка.

– Тьфу! – Николай Николаевич даже плюнул, подумал: «Народится же на свет такая дура...» Хлопнул дверью и пошел вниз.

Когда удалились шага мужа, Сонечка уронила руки на кучу прабабушкиных робронов, пахнувших пачулей, и, не сдерживаясь больше, принялась плакать. Слезы капали часто, обильные, крупные, точно капли дождя с листьев. Она не вытирала их и не жалела.

Тесть, как и надо было ожидать, сидел в столовой на диванчике и нюхал табак. Николай Николаевич крупными шагами озабоченно подошел к нему и показал телеграмму.

Илья Леонтьевич прочел и ни особенной радости, ни изумления не выразил.

– Ну что же, очень хорошо. Когда думаете ехать?

– Я, если позволите, еду завтра – передовым... Жена думает задержаться некоторое время... Я – завтра, если...

– Вот как, – не вместе едете?

– Нет... Я – передовым... То-се... Квартину присмотр-

реть... Суета... То-се...

Николай Николаевич замолчал, надул щеки. Пальцы у него на руках и ногах замерзли. Тесть постукивал по лубяной табакерке.

– Ну, ну, – сказал он тихо, – это дело ваше. Новое поколение, новые нравы. Дело ваше. – Вы верующий, Николай Николаевич?

– Я? – Смольков даже вздрогнул.

– Богу на ночь молитесь?

– Молюсь... Бывает, иногда манкирую...

– В церковь ходите?..

– Бывал.

– Вы простите меня, старика, давно я хотел побеседовать с вами на эту тему. Все откладывал, – грешен в нерадении... Завтра уедете, Бог знает, когда увидимся. Но вы муж моей дочери, ее духовный водитель...

У Николая Николаевича сразу же заболел низ живота, заскулило во всем теле невыносимо...

– Дорогой тесть, на минуту, простите прерву вас... – Он выкрикнул это так отчаянно, что Илья Леонтьевич поднял брови и посмотрел на него. – Дорогой тесть... Я чертовски в глупом положении... Не рассчитал, были чертовские расходы. Осталось три рубля с мелочью... Глупо. Что?

– Денег вам нужно?

– Да, да... Именно, именно. Чертовски...

– Каким же образом я могу вам дать денег, – не понимаю

еще.

– Сонечка говорила, вы сами писали относительно Сосновки...

– Да, я писал. Но Сосновка принадлежит Софье Ильиничне... К тому же доход с этого имения весь вложен в обсеменение полей, в запашку пара и в покупку рогатого скота... Я рассчитывал, признаться, что вы здесь заимуете. А вдруг – Париж. Денег? Надо было месяца за два предупредить. Какие же в деревне деньги?.. Удивлен чрезвычайно...

Посиневшими губами Николай Николаевич пролепетал:

– А если векселей?

Илья Леонтьевич поднялся с дивана и опять сел. У Николая Николаевича ходили огненные круги перед глазами. Тесть сказал:

– Вы хотите выдать вексель Софье Ильиничне? Но у нее денег нет...

– Знаю, но если, дорогой тесть, сделать так: я дам вексель моей жене, она же в свою очередь даст на такую же сумму вексель вам... Деньги дадите, собственно, вы... Это страшно, страшно просто. Что?

Илья Леонтьевич был сбит с толку и проговорил упавшим голосом:

– Посмотрим, какова будет воля Софьи Ильиничны.

Сонечка, как и надо было ожидать, сказала мужу: «Ради Бога, все, что тебе будет угодно». Тогда Илья Леонтьевич за-

явил, что у него нет вексельной бумаги и поэтому придется гнать в город за бумагой, мучить по распутице лошадей и людей. Но в чемодане Николая Николаевича оказалась вексельная бумага, возил он ее с собой на случай. Затем серьезная разногласица с тестем вышла из-за суммы, говорили об этом до сумерек. Наконец оба векселя были подписаны (на три тысячи семьсот рублей). Илья Леонтьевич щелкал у себя в кабинете счетами, рвал какие-то бумажки. Переслюнив и отсчитав деньги, перевязав их бечевочкой крест-накрест, он пошел наверх, к молодым. Сонечка, склонясь у свечи, пришивала пуговицу к рубашке мужа. Николай Николаевич жевал папироску, шагал по комнате под низким потолком, совал в чемодан колодки от башмаков. Увидев тестя и, особенно, в руках его пачку денег, он нагнул голову, как будто говоря: «Нет, нет, не надо, не надо...» Пошел – и обнял старого Репьева;

– Так грустно, так тяжело, папа, люблю ее, как Бога, и вдруг – разлука.

Илья Леонтьевич освободился от объятий и передал деньги. Сонечка откусила нитку, расправила рубашку и, встав, положила ее в чемодан.

– Пойдем вниз, – сказала она Илье Леонтьевичу, ласково беря его под руку. – Ты еще не пил чаю? Николай уложится и без нас.

В столовой Сонечка села близко к отцу, налила ему чаю и сама положила сахар, налила сливок и, обхватив его руку

у плеча, прижалась щекой. Илья Леонтьевич сидел сутулясь, чуть тряся седой головой, точно кивал преогромной чашке, на которой было написано: «Со днем ангела».

Наконец он почувствовал сквозь рубашку горячую влагу слез, обхватил Сонечку за плечи и спросил сдержанно:

– Как же это у вас вышло все?

– Слава Богу, что скоро вышло, не так больно, – ответила Сонечка, глядя на огонь лампы, висящей над столом.

– Навсегда, что ли, растаетесь?

– Навсегда, папочка, – не люблю его.

Неслышно в комнате появился кот, гладкий, ласковый. Подняв торчком хвост, мяукнул еле слышно, но, видя, что хозяйева внимания на это не обращают, отправился по своим тайным делишкам. Илья Леонтьевич сказал:

– Не понимаю... Нет, не могу понять таких отношений.

Тогда Сонечка принялась рассказывать ему все, что было. Прошрое в этом рассказе представилось ей отошедшим далеко, точно она передавала чужую повесть. Точно не она мечтала в гнилопятском парке о жгучих глазах под черными полями шляпы, точно не ее – другую – заставил жгуче покраснеть красавец парень, опрокинув вместе с возилкой в ворох соломы, точно не ее тревожно и бесстыдно поцеловал на качелях Николай Николаевич.

Глаза Сонечки потемнели, лицо обтянулось, стало строгим. Илья Леонтьевич с изумлением глядел на дочь. Сонечка-девочка умерла. Перед ним сидела и печальным го-

лосом раздумчиво рассказывала глупенькую и трогательную повесть Сонечка-женщина.

– Я, может быть, рада, что миновало девичество. Был сладкий туман, – ничего в нем не оказалось, кроме слез. Теперь – если придет новое чувство – буду любить, любить... Ах, отец, отец... Я чувствую, как могу полюбить человека... Во мне столько нежности... Не может быть, – неужели же я никому, никому не нужна?..

Она опять крепко прижалась к его плечу, и сквозь рубашку Илье Леонтьевичу снова стало горячо...

– Ну, конечно, мне тяжело, мне больно. Ты сам все видишь, отец...

– Много нужно страдать, много, – сказал Илья Леонтьевич, – человек, как зерно, прорастает – через страдание, через тягость борьбы. А что же полечку-то всю жизнь танцевать! Прыгает, прыгает человек, – смотришь: от него уж одна тень прыгает... Не бойся, не беги страдания, Соня, – страдай во всю глубину и люби во всю глубину женскую... Вот так же твоя мать, такая же, как ты, была... То же лицо дорогое...

– Папочка, милый, не плачь.

Рано поутру Николай Николаевич уехал. Прощаясь, он сильно задумался, – смутило его спокойное равнодушие Сонечки. Не было ли здесь какой-нибудь неожиданной ловушки? И совсем уже он призадумался, когда оглянул жену с «птичьего полета». Он сидел в тарантасе, она стояла на кры-

лечке, держа обеими руками под руку Илью Леонтьевича. Она показалась ему вдруг и выше ростом, и похудевшей, и прекрасной, – никогда он еще такую ее не видел: спокойная, с грустной улыбкой стояла она в беличьей шубке, в пуховом платочке. «Ах, черт, а не захватить ли ее с собой? Ох, кажется, упущу большое удовольствие», – подумал он, в нерешительности высовывая одну ногу из тарантаса. Но Сонечка сказала:

– Прощай, Николай, прощай, голубчик.

Кучер, подхватив вожжи, прикрикнул уныло: «С Богом!» Лошади тронули, от колес полетели комья грязи. Белые гуси, потревоженные на лугу, где щипали траву, зашипели вслед тарантасу.

На повороте за околицей Смольков оглянулся. Крыльцо было пусто, подошедшая собака обнюхивала следы. Сжалось сердце у Николая Николаевича. «Э, пустяки, через месяц напишу письмецо, – прискачет», – и он плотнее завернулся в чапан.



## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Степанида Ивановна, пригорюнившись, сидела у окна, за ним опадали желтые листья. Солнце к восьми часам пригрело, и только в тени дома да кое-где под кустами синела от студеной росы трава. Много птиц улетело за моря, дом опустел. Алексей Алексеевич, шаркая туфлями, ходил по комнатам а вздыхал, бог знает о чем. Лицо его все желтело, и гнулась спина, что очень заботило генеральшу. Утомилась ли она за это лето, или осень слишком опечалила ее думы, но только реже ездила Степанида Ивановна на раскопки, особенно с тех пор, как едва не прогнали от дела Афанасия, изолгавшегося без совести.

Афанасий однажды в присутствии генерала принес ворону и, держа ее за крыло, уверял, что это и есть вторая примета – *орел*, черный же он оттого, что долго лежал в земле. Генерал немедля вышвырнул Афанасия вместе с вороной за дверь. В тот же день из города был выписан немец – специалист по земляным работам.

Немец повел раскопки аккуратно; поставил солидные крепи, в слабых местах вывел свод, нанял новых рабочих, действительно нашел старые ходы под землей, идущие зигзагами, принес генеральше птичьи косточки в прозеленевшем горшке и, наконец, выкопал грубо высеченную из камня *человеческую голову*, на лбу которой был начертан план подзе-

мелий. Оказалось, что голова эта стояла на половине пути, и от нее подземелья шли в глубину горы, страшно запутанные и рухнувшие. Раньше ноября нечего было и думать добраться до клада, и генеральша была весьма этим расстроена и даже обессилена.

– Копаем, – говорил прокуренный табачищем немец, – еще три аршина прошли. Пожалуйте денег.

Не так разговаривали Афанасий и Павлина. Слова их были таинственны и волновали генеральшу. Каждое утро она ждала, бывало, с нетерпением рассказа о Павлинином сие. Вечером Афанасий приносил ей какие-нибудь черепки и рассказывал, как едва не утянула нечистая сила под землю мальчишку-поденщика. У генеральши глаза выкатывались от ужаса и любопытства.

– Я так и знала, это очень опасно. *Они* охраняют, но мы победим.

Павлина жила в своей каморке за лестницей, но на глаза показывалась редко и то для того только, чтобы наговорить на проклятого немца в пользу Афанасия, мрачно прислуживавшего у стола.

– Мне и самой надоел немец, – сказала раз генеральша, – но как его прогнать, когда он честный...

Видя такое недовольство Степаниды Ивановны, Афанасий поступил решительно: выворотил шубу, ночью вошел к спящей Павлине, завалился к ней на лежанку и, скрежеща зубами, объявил, что он и есть огненный бес, всю жизнь ис-

кушавший бабу.

Павлина обмерла, а бес сказал, что если завтра же не прогонят пузатого немца и к работам не приставят раба Афанасия, то он, бес, обрушит, все вырытые ходы, а Павлину ухватит поперек живота, потащит в пекло.

– Хорошо, батюшка, все так будет, – вся дрожа, шептала в темноте Павлина.

Бес царапнул ее по спине ногтями и ушел...

Павлина все это, конечно, подробно рассказала генеральше. Степанида Ивановна тотчас рассчитала немца. Повеселевший Афанасий уехал на работы и в тот же вечер привез известие, что «гудит». Все поверили и удивились, хотя никто не знал, что гудит.

Но теперь, когда с кладом дело было налажено, началась у Степаниды Ивановны новая забота – тайная и усиленная переписка с одним старичком шведом. Это и было то главное и огромное *дело*, из-за которого начала она рыть клад.

С каждым днем забот становилось больше, сил уже не хватало. С трудом оканчивала генеральша свой день и засыпала тяжелым, глухим, как смерть, сном; и постоянно томило ее какое-то беспокойство; она приписывала это усталости и суете.

С каждым днем все более волновал ее Алексей Алексеевич: генерал таял, как воск, тосковал, не притрагиваясь ни к какой работе.

Началось это со злосчастной продажи хлеба. Простудился

ли тогда Алексей Алексеевич, или сердце его, не перенеся удара, слишком надорвалось, – неизвестно, только пышные усы его и белые волосы на голове заметно стали редеть. Ночью, лежа подле жены, генерал часто стонал во сне.

Невеселые мысли проходили сейчас перед Степанидой Ивановной. Облокотясь о подоконник, глядела она на желтый лист, повисший на паутине, и трясла головой в кружевном чепце.

По коридору, медленно шаркая ногами, шел Алексей Алексеевич. Генеральша прошептала:

– Как он ноги волочить стал, а прежде, бывало, взбежит по лестнице – не задохнется.

Генерал медленно, несколько раз нажимая скобку двери, вошел, кротко улыбнулся и, показав попугаю палец, сказал:

– Что, брат, видно, осень пришла...

– Он хворает, – поспешно ответила генеральша, – совсем не разговаривает...

Генерал постоял немного и ушел.

Степанида Ивановна, наморщив лоб, глядела на то место, где только что стоял муж, – все ей представлялась сутулая его спина и жалостливая улыбка.

«Ах, сколько раз я его огорчала, – думала она, – а он такой добрый: видеть не могу, как он улыбается; бедный мой Алешенька».

Она положила руки на подоконник и голову на руки и застыла, слушая, как бродит генерал по комнатам, будто не на-

ходит места.

«Что он все ходит, все ходит... В самом деле, у нас пусто и скучно в доме».

Когда, спустя долгое время, генерал опять вошел в ее спальню, генеральша проговорила:

– Сядь, Алексей, расскажи, что с тобой? Отчего у тебя так ноги шаркают. Болен? Или скучно тебе?

– Странная вещь, – ответил Алексей Алексеевич глухим голосом, – я нигде не могу найти мой носовой платок... Куда... – Он не окончил говорить и сел на стул позади генеральши.

После долгого молчания Степанида Ивановна услышала странные звуки, словно во рту генерала шипел и вертелся валик от игрушечного органчика.

Содрогнулась она, как бы от толчка в спину, и тупые иглы забегали по телу. Понимая, что смертельно испугалась, она взглянула: один глаз у генерала стал оловянный и выпучился, другой был закрыт; рот и все побагровевшее лицо его перекосило; из лиловых губ вылетел странный звук.

– Ай! – закричала генеральша, махая на мужа руками.

А он все клонился на правую сторону, пока не съехал на ковер.

На крик генеральши прибежали слуги, подняли огромного Алексея Алексеевича. Он двигал одной левой рукой и ногой, не говорил, а только шипел, вращая глазом. Его положили на диван.

Степанида Ивановна, пронзительно вскрикивая, билась в руках Павлины и Афанасия. Увидев, что генерал жив и шевелит пальцами по краю тужурки, она метнулась, упала подле него на колени и быстро, словно смахивая пыль, стала гладить волосы его и лицо:

– Алешенька, оправься. Друг ты мой, скажи, что тебе не больно. Скажи, что пошутил. Помнишь, бывало, я покричу на тебя, а ты ляжешь на кровать и притворишься, что умираешь... Алешенька! Алексей, где болит у тебя? Сейчас компресс положим. Афанасий, вина принеси и воды горячей. Выпей. Рот разожми. Не можешь? Отчего не отвечаешь? Пой, я другой глаз тебе открою... Больно? Алексей, что с тобой, да ты жив ли? Жив?

Она обеими руками трясла мужа и снова бормотала:

– Не огорчай меня, сделай усилие, оправься. Посмотри, как я боюсь. Доставь мне удовольствие. Я умру от страха. Алексей! Посмотри – вот я рассердилась, ухожу, буду плакать... Доктора! За доктором послать! Скорее! – вдруг закричала она, подбежала, вернулась и опять припала к Алексею Алексеевичу.

Афанасий поскакал в село за земским врачом. Степанида Ивановна, увидав, что Павлина снимает с генерала туфли, оттолкнула ее, сама раздела мужа, закутала в теплый плед и села у его изголовья, поминутно наклоняясь.

Жужжать генерал перестал. В открытом его глазу исчезло выражение ужаса, веки полузакрылись. Тогда генеральша,

сняв башмаки, на цыпочках подошла к образу, опустила и шептала:

– Отче наш... Иже еси на небеси... – Она обернулась, с ужасной тоской взглянула на мужа и на минуту припала лбом к холодному полу. – Не так нужно просить. Ему душа надобна. Он не поймет, почему я не хочу отдавать ему Алексея... Отче наш, повремени, он не уйдет от тебя... Ах, ты меня не слышишь...

И генеральша снова припала к паркету. Такой ее нашел, потирая только что вымытые руки, местный доктор. Генеральша поглядела на короткие, в рыжих волосах пальцы врача, стремительно поднялась и поцеловала их. Врач смутился и занялся больным.

Глядя доктору в глаза, выслушала Степанида Ивановна, что, если не будет еще удара, генерал выживет, в противном же случае, – тут доктор тяжело вздохнул и, разведя руки, поклонился, – тогда конец.

– Конец, – твердо повторила генеральша.

Быстро сделав все, что было прописано, она затворила дверь на ключ и с решительным лицом подошла к Алексею Алексеевичу, готовая на крайнее, но верное средство, которое, пробудив в генерале дух, поднимет и ослабевшее его тело.

– Алексей, – сказала Степанида Ивановна торжественно, – я открываю тебе тайну. Алексей, фамилия Брагиных по женской линии есть престолонаследная ветвь *шведских королей*

Бернадотов. Теперешний шведский король бездетен и скоро умрет, после него единственным наследником престола являешься ты. Для этого все предварительное сделано, остается теперь объявить себя претендентом. Ты узнал все, и перст всемогущего указал на тебя: Алексей, корона шведских королей, потерянная Карлом Двенадцатым, утаенная Мазепой, в моих руках. Алексей, встань!

Степанида Ивановна, сверкая глазами, подняла руку, Волнение ее, должно быть, передалось Алексею Алексеевичу. Когда генеральша приказала: встань! – он здоровой рукой оперся о кровать, приподнялся до половины, вдруг икнул громко, закинул голову и повалился с дивана на ковер. Присев около мужа, генеральша стала царапать себе лицо, потом легла на Алексея Алексеевича и застыла так на много часов.

Омытый, одетый в парадный мундир, со всеми орденами и лентами, третий день лежал Алексей Алексеевич в зале на столе, скрестив на груди большие руки.

Павлина, опухшая от слез и довольная, что сподобилась походить за таким покойничком, распорядилась похоронами. У аналоя, между двух свечей, не переставая читали монахини. Третья свеча таинственно светила в лицо мертвому Алексею Алексеевичу. Смутно были озарены зеркала, занавешенные черным тюлем, огромный гроб и подле – маленькая генеральша, комочком сгорбленная на своем стуле.

Сложив руки на коленях, склонив голову, терпеливо жда-



ла Степанида Ивановна, когда в столовой пробьют часы, – тогда она приподнималась и заглядывала мужу в лицо. Ей чудилось – вот Алексей Алексеевич очнется от ужасной неподвижности, улыбнется ей живыми губами, облизнет на них полоску сукровицы.

Но ни один волос генерала не шевелился, хотя сквозь желтую кожу щеки как будто проступал румянец: может быть, играл это свет свечи.

Генеральша терпеливо садилась опять и ждала, жалобно, иногда в недоумении улыбаясь.

На третьи сутки появился в комнате священник, дьяк и мужики. Отворили все двери и ставни. В душную комнату ворвался день, и от синего его света генерал сразу позеленел. Степанида Ивановна испугалась и отошла к стене. Священник облачился в бархатную с серебром ризу, дьяк кашлянул в кулак, забасил густо, все запели. Генеральша подумала, что Алексею Алексеевичу приятно слышать, как о нем скорбят и поют. Наконец Павлина брякнулась около гроба, и все пошли прикладываться к мертвой руке. Парни, с белыми полотенцами, толкаясь, отодвинули свечи и подняли гроб на плечи. Генеральша побежала за ними, умоляя поосторожнее браться, – не толкать и не тревожить Алешеньку. Топоча, его понесли ногами вперед в раскрытую стеклянную дверь.

– Куда вы? – спросила генеральша, но ей не ответили, и все несли с крыльца на двор, через плотину, по дороге в гору, мимо Свиных Овражков – в монастырь.

Спотыкаясь, спешила генеральша за гробом и удивлялась, – чего же она не понимает? Для чего нужно ей так далеко бежать на одеревенелых ногах?

В церкви подошла к ней мать Голендуха и, поцеловав в губы, измочила слезами. После службы, опять шепотом споря и толкаясь, понесли парни Алексея Алексеевича на мирской лужок и, опустив гроб, наложили крышку, стали заколачивать гвозди.

– Тише вы, отчаянные, – сказала генеральша и заглянула в глубокую яму... Туда на веревках опустили гроб, священник первый бросил горсть земли.

– Вы в него землей бросаете? – спросила генеральша и снова заглянула вниз, где на глинистом дне лежал Алексей Алексеевич, – Как можно, он привык спать на мягкой постели...

Она раскрыла широко глаза и часто-часто затрясла головой, поняла, наконец, то, что все эти дни было от нее скрыто. Она поспешно подобрала платье, чтобы прыгнуть вниз к мужу, не оставить его одного навсегда. Но Степаниду Ивановну схватили и повели к экипажу... Она вырвалась и опять побежала. Тогда ее с руками закутали в плед, положили в коляску и погнали Ахиллеса и Геркулеса, и долго еще крестьяне, неторопливо расходясь, слышали удаляющийся по дороге тонкий крик:

– Алексей! Алексей!

Дома генеральша обеспамятела. Павлина спрыснула ее с уголька, – это помогло, и Степанида Ивановна, как каменная, пролежала до вечера в неубранной постели. На закате внезапно поднялась, оправила платье и, крикнув Павлину, пошла со свечой по комнатам, заглядывая во все углы...

Так обошли они весь низ дома, где в необитаемых покоях пыльные окна были темны и страшны, поднялись в Со-нечкины белые антресоли, спустились по скрипучей лесенке обратно и остановились перед кабинетом.

– Как ты спал, хорошо? – громко вдруг сказала генеральша. – Голова не болит? А у меня, знаешь, самое темя ломит. – И она, прикрывая ладонью свет, вошла в кабинет. А Павлина поползла по коридору, – не помнила, как очутилась в кухне, где сейчас же рассказала, что генеральша разговаривает с мертвым барином.

В кабинете Степанида Ивановна поставила свечу на курительный столик и прилегла на диван.

– Знаешь, Алексей, любовь наша не угасла, нет, нет... Я, как прежде, влюблена в тебя. Я много передумала за эти дни и решила, что несправедливо тебя обижала. Я хочу сегодня просить у тебя прощения.

Она оглянулась, вздохнула коротко, посидела еще, пригрюнясь, и побрела к себе, в дверях обернулась, сказала:

– Спи спокойно.

У себя она затворила окно; дождь в него наплюхал лужу на ковре. Сильный ветер шумел деревьями, лепил желтые

листья к стеклам, подвывал в трубе.

Присев перед зеркалом, Степанида Ивановна сняла чепец, из флакона налила на плечи и грудь густых духов и, подняв свечу, стала разглядывать свое лицо.

– Ничего еще, я все-таки хороша. Нужно очень следить за собой...

Заячьей лапкой она нарумянила ярко щеки и уши, подвела дугою брови и надела парадную заколку из кружев.

– Видишь, – она жеманно улыбнулась, – это еще не все. – Вынула темно-красные кораллы, окрутила их кругом шеи, в левую руку взяла кружевной платочек, правую подняла и, погрозив пальцем, оглянула всю себя в большое зеркало. Голова у нее затряслась. Потом она зажгла два канделябра на стене, легла на постель и, повертевшись, проговорила громким шепотом:

– Что же ты не идешь?

Прошло долгое время, и генеральша зашептала:

– Знаешь, Алексей, я почему-то все вспоминаю поход на Дунай: ты приходил усталый в палатку и сейчас же засыпал. На мне было премиленькое черное платье, я садилась подле тебя и все глядела. У тебя во сне горели щеки, нельзя было не любоваться тобой. Теперь мне очень жалко, что умерла наша дочка. Она так мило перебирала пальчиками, она была похожа на тебя... Алексей, я вот уже час как разговариваю, а ты не идешь. Тебя, наверное, задерживают по этому делу. Пожалуйста, сразу не соглашайся быть королем, отка-

жись по крайней мере один раз, потребууй, чтобы весь народ просил тебя взойти на престол. У меня много жемчуга. Ты ведь знаешь, жемчуг умирает, если его не носить, а в земле опять оживает. Мой жемчуг двести лет лежал под землей. Алексей, для тебя я добыла из земли сокровища... Что же ты медлишь?

Генеральша прислушалась. Ветер хлестал дождем в окно, обсыпалась штукатурка в печной трубе. Мрачно выл угол дома.

– Алексей, может быть, ты меня обманываешь, – привстав, сказала генеральша, – может быть, к тебе пришла *она*. Я понимаю твою комедию. Ты подстроил, чтобы тебя похоронили, и *там* хочешь встретиться с *ней*. Она всю жизнь душила меня по ночам. Теперь она смеется... Иди ко мне... Оттолкни ее... Это ты его убила!.. Алексей, Алексей!..

Генеральша соскочила с кровати, тряся головой, сжала кулачки.

– Ты воспользовался гадким случаем, чтобы обмануть... Я отомщу...

Степанида Ивановна стремительно побежала в кабинет, ощупала пустой диван, кресло, углы за шкафами и остановилась, тяжело дыша.

– Они *там*, у церкви, на погосте, там встретились...

Сняв со стены двуствольный пистолет, генеральша побежала в прихожую, накинула плед и отворила стеклянную дверь на веранду. Мокрый ветер подхватил ее покрывало,

сорвал, иссек дождем, закрутил ее иссохшее тело. Обессиленная, упала Степанида Ивановна на каменные холодные плиты...

\* \* \*

– Дверь будто звякнула, – прошептал Афанасий, сидя на лежанке. – Слушай-ка, крикнули, не случилось ли беды какой с нашей барыней, Павлина. Пойти посмотреть...

Взяв коптилку, пошли Афанасий и Павлина, подсовывая друг друга, пугаясь скрипящих половиц, туда, где под дождем лежала обезумевшая Степанида Ивановна.

# ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Любезнейшая дочь моя, Софья Ильинична, приключилось у нас великое горе: Алексея Алексеевича нашел Господь в возрасте Сына Царствия Божьего, – помер. Аминь. Ревем, не переставая. Перед смертью язык у него шипел, как в шарманке, – набрались страху. Однако генерал погребен с благочестием. Старуха, Степанида Ивановна, совсем ополоумела. Не знаем, что с нею и делать. Срамотища, – соблазн и грех на всю округу. Монашки мои, дуры, – все языки обтрепали. Народ не столько молиться к нам течет, сколько срамные их рассказы слушать про генеральшу. Видно, за грехи помutilась моя голова, не рада, что и связалась со Степанидой Ивановной. Увезите ее, Христа ради, от нас. В Гнилопятах – поток и разорение, – воруют кому не лень. Простите за глупое письмо сие, примите мое благословение. Настоятельница Чернореченского женского монастыря, смиренная игуменья Голендуха».

Как громом поразило Сонечку и Илью Леонтьевича известие о внезапной смерти Алексея Алексеевича. На другой день после получения письма от Голендухи Илья Леонтьевич вместе с Сонечкой выехал в Гнилопята, где мучилась, покинутая всеми, сумасшедшая генеральша.

Афанасий и Павлина подняли тогда ночью Степаниду

Ивановну, лежавшую на проливном дожде, уложили в постель, укутали, натерли водкой. Генеральша бредила, несла несуразное и соблазнительное.

Всю ночь проскулила Павлина, сидя на своей лежанке:

– Крышка нашей благодетельнице! Ох, Афанасьюшка, прошли наши красные денечки...

Но, к удивлению всех и в особенности доктора, Степанида Ивановна через неделю «околемалась» и даже встала с постели. Маленькое ее личико, до костей иссушенное лихорадкой, огромные в глубине черепа глаза и засохшие полоски губ, не закрывающих десен, показывали, что горит еще в птичьем ее теле огонь и спокойно генеральша не уйдет в землю.

Днем Степанида Ивановна лежала, одетая, на постели, не отвечала ни звука на слезливые словечки Павлины, не пила, не ела. Когда наступал вечер, она вставала, словно поднятая рукой, и, волоча смятое и порванное лиловое платье, ходила по спальне и бормотала:

– На твою душу падет мой новый грех. Ты, ты сам довел меня до отчаяния. Знай – не успокоюсь, покуда тебе не отомщу. – И заламывала руки. – Ах, как двери скрипят! Ах, не могу видеть эти стены!.. Ах, как пусто, пусто!

В тоске она шла по пустынным комнатам. В зале, отогнув на зеркале траурный креп, всматривалась в свое изображение и деловито охорашивалась – и была похожа на маленькую, густо нарумяненную девочку с трясущейся головой, с оскаленным ртом. Ревность, злоба, неутоленные жела-



ния изглодали ее, высушили, как корешок. Вся воля ее была устремлена на одно – отомстить.

– Ты нарочно завез меня в проклятые Гнилопяты! Бросил, обманул, и *там* сейчас тешишься со своей первой... Погоди, погоди! *Ты там* утешаешься, а *я здесь* отомщу...

Она вынимала из ларчика драгоценности – колье, фермуары, браслеты, серьги, рассматривала, примеряла и вновь приходила в отчаяние: «Нет, нужны царские сокровища, – затмить в Петербурге всех, всех, чтобы забыли эти морщины, эти года».

Генеральша снова начала прерванные раскопки... После смерти генерала были предъявлены ко взысканию несколько крупных векселей. Приказчик и главным образом Афанасий, орудовавший теперь по всему хозяйству, продали и заповедник и запашку будущего года, уплатили по векселям и сшили каждый себе по кафтану со смушками. Кроме того, оказалось множество мелких долгов. Павлина докладывала о них ежедневно. Генеральша только сердилась, требовала себе денег – золотыми монетами – и ссыпала их на дно ларца. Гневалась она также на дождливую погоду, приостановившую работу по раскопкам. Действительно, вторую неделю шумели в парке и на полях несносные дожди. По дну Свиных Овражков катилась мутная река. Таких дождей не помнили старожилы.

Неожиданно генеральша потребовала у матери Голендухи двух монашенок и усадила их переделывать и обновлять

многочисленные, но уже пришедшие в ветхость платья. Тут-то и начался соблазн и разговоры.

Монашенки, уходя ночевать в монастырь, рассказывали о чудесах в гнилопятском доме, о ночных прогулках Степаниды Ивановны, о раскрываемых в зале после полуночи зеркалах, в которые генеральша смотрелась, говорят, даже совсем нагишом, о странных криках в кабинете покойного генерала, о шумах и стуках, о столах и хохоте, слышном каждую ночь на чердаке, и о многом таком, что передавалось шепотом, и волосы шевелились под платочком у черниц.

Наконец дожди кончились, настали ясные осенние дни. Степанида Ивановна сама поехала на Свиные Овражки и неподалеку от раскопок, в месте, куда все это время сильно била вода, обнаружила глубокий провал и часть обнажившейся древней кладки. Тотчас приказано было рыть. Четыре дня генеральша не отходила от работ и ночевала там в овраге, в нарочно привезенной карете.

На пятый день из-под земли послышался глухой шум голосов, и Афанасий, выскочив из ямы, заорал:

– Ваше превосходительство, нашли!

Степанида Ивановна затряслась в лихорадке, застучала вставными зубами и полезла в яму. Афанасий с фонарем повел генеральшу по узкому, уходящему вниз тоннелю... После множества заворотов тоннель окончился низкой сводчатой пещерой. Здесь было сыро, как в могиле. В глубоких нишах пещеры, под оводами, стояли глиняные горшки; два

были разбиты, один валялся на полу... Афанасий, высоко держа фонарь, светил. Генеральша, путаясь в платье, взобра-лась, как обезьяна, в нишу, ухватилась за край горшка, за-глянула, запустила руку туда и вскрикнула пронзительно:

– Пуст, пуст! Ограбили!..

Обхватив горшок, она затряслась, заплакала от злобы и отчаяния. Рабочие охали, разводили руками. Афанасий за-глянул в остальные горшки, они тоже были пусты... Затем он наткнулся в углу на зарытый до половины сундук с разби-той крышкой: обшарил его и в пыли и прахе нашел камешек величиною с грецкий орех, поплевал на него, отер, и затеп-лилась в свете фонаря молочно-розовым светом жемчужи-на необычайной величины... Степанида Ивановна выхвати-ла ее у Афанасия, зажала в кулачке, хрипло, дико засмеялась.

Степанида Ивановна лежала навзничь на кровати и гляде-ла на жемчужину, положенную около, на черной подушечке для булавок. Под огромным абажуром неяркая лампа освещала грязные простыни и угол подушки, – все остальное бы-ло погружено в красноватый полумрак.

Степанида Ивановна боролась с видениями, возникающи-ми, как ей казалось, в живом, то молочном, то алом, то зеле-новатом теле жемчужины. Из видений самое страшное было одно, постоянно повторяющееся, мучительное. Видела гене-ральша мокрое истоптанное поле; в конце его тусклая, веч-ная полоса заката. Холмики, кресты, холмики и вдруг яма.

Ноги скользят, сыплются комья. Нужно прильнуть к земле, чтобы не скатиться. Там, на дне ямы, лежит усатый огромный человек. «Алешенька, – зовет генеральша, – я тебя все-таки нашла. Холодно тебе одному? Что ты какой мерзлый». Кругом нет ничего, нечем согреться, все мокрое, все холодное. А прыгнуть туда, прильнуть – страшно. Тогда вкрадчивым сладким голосом начинает она вспоминать прежние ласки, обольщает его, щурится. И вдруг из-под генерала заструился дымок и вылизнули красные, огненные язычки... Генерал розовеет, скрещенные руки его трепещут... Он шевелится на огне, хочет разлепить глаза, привстать... «Ведь это муки адские», – думает генеральша. И силится оторваться от злого видения, и не может. Генерал подплясывает на пламени, раскрывает глаза. «Алешенька, – шепчет она, – взгляни на меня, мучаюсь». Он смотрит на нее и не видит. И чувствует она – нет той силы, какая могла бы соединить их глаза... Уже вся яма в огне, по всему полю танцует огонь, не жаркий, ледяной. И в глубокую яму к веселому генералу стремительно сходит тень... Это та, *другая*, Вера...

Мечется генеральша на постели, вскрикивает.

– Что, матушка, благодетельница, или головка болит? – медовым голоском спрашивает Павлина.

– Боюсь я смерти, Павлина! Боже мой, как боюсь! Ведь потом будут только муки, муки, муки!.. Нам раз дано жить, насладиться. А потом темнота, холод, ужас!..

У Павлины из головы не шел недавний разговор с генеральшей, которая все повторяла в исступлении и бреду о том, как она ослепит золотом и кокетством какого-то нечеловеческой красоты желтого кирасира и предастся с ним таким излишествам, что Алексею Алексеевичу станет тошно на том свете. Даже сейчас, истерзанная неудачей с сокровищами Мазепы, не отказалась Степанида Ивановна от мысли – отомстить. Она судорожно цеплялась за уходящие часы жизни, ее беспокойство и муки возрастали.

Павлина узнала, что найденная в пещере жемчужина одна стоит много тысяч, и, вынимая ночью для генеральши драгоценности из ларца, прикинула и ахнула: если продать все эта броши, серьги и браслеты да прибавить к ним червонцы на дне ларца – навек можно стать богатейшей барыней... А попадет все это какому-нибудь пьянице офицеру.

Всю ночь проворочалась Павлина на лежанке и утром подъехала к Афанасию, пившему в столовой кофе. (Генеральша просыпалась только вечером, и весь день прислуга в доме делала, что хотела.)

Павлина стала за его стулом, вытерла губы и сказала умильно:

– Счастья твоего желаю, Афанасьюшка, бездельные мы с тобой, безродные... Умрет наша благодетельница – куда пойдём?

– Не знаю, как ты, баба, – сказал Афанасий, закуривая генеральскую сигару и развалясь, – я ничего себе живу, хоро-

шо. А старуха умрет – открою трактир при монастыре. Ты же пошла от меня прочь, видишь, я сигару курю.

– Да я уйду, Афанасьюшка, уйду, коли гонишь. А быть бы тебе барином, не то что в трактире тарелки мыть. В двести тысяч могла бы тебя произвести.

Афанасий посмотрел на Павлину. «Ох, рожа хитрущая у бабы, ну и рожа!» – Рассказывай, слушаю.

– У благодетельницы нашей деньгами и брошками акурат эта сумма лежит. Без меня не видать тебе ломаного пятака. Женись на мне – счастье найдешь, не хочешь – другого отыщу... Вашего брата много туг бегаёт, – давеча приказчик ко мне подъезжал.

– Ты не грабить ли задумала? Ой, донесу.

Но тут Павлина, присев рядышком, подробно и толково принялась рассказывать все, что надумала за эту ночь. Афанасий, слушая, бросил сигару, потом начал отплевываться и, наконец, хватив бабу по спине, заржал на весь дом.

– Не люблю, сударь, такого обращения, – сказала Павлина. – У меня спина женская. Даю тебе день сроку, подумай и сам решай. Рожа-то я рожа, а ума ни у кого не займу.

К утру Афанасий действительно додумался и поехал в город, где взял себе у парикмахера фрачную пару, парик и накладные усы.

Павлина за это время не отходила от Степаниды Ивановны и, едва генеральша переставала бредить, заводила разговор о каком-то господине Фиалкине, писаном, говорят, кра-

савце мужчине, который собирается заехать в Гнилопяты – познакомиться с генеральшей: прослышал, так и рвется по-видать.

– О каком Фиалкине говоришь? О каком Фиалкине? Не знаю такого, – с тоской спрашивала Степанида Ивановна, – разве я могу сейчас принять молодого человека? Дай поправлюсь, пополнею немножко... Отстань от меня!

– Красивый, сытый, на слова бойкий, – шептала Павлина, – увидит женщину – так весь на нее и прыгает, как жеребец... Редкий мужчина... Уж сама не знаю, благодетельница, допускать ли его до вас?

Генеральша промолчала. Затем потребовала зеркало и долго огромными глазами всматривалась в ужасное лицо свое. Без сил уронила руки и сказала, едва слышно, с отчаянием:

– Не вижу ничего, Павлина, – темно. Скажи, не слишком ли я стара?.. Скажи правду.

– И, благодетельница, нечего душой кривить, – не восемнадцати лет... Червоточинка есть, но самую малость, – припудритесь, хоть кого в дрожь вгоните. А я еще лампу приверну, – чистый ангел небесный! В ваши-то года – баба-ягода. С ума его сведем, нашего Фиалкина-то.

– Какого Фиалкина? Ничего я не пойму... Путаешь ты меня, глупая баба.

В тот же вечер в спальне Степаниды Ивановны появился странный господин. У него были черные, густые, как баранья

шерсть, волосы и необыкновенно длинные усы. На нем был фрак, красный галстук и скрипящие сапожки. Он прошел из дверей до середины комнаты, снял фуражку с кокардой, поклонился генеральше и раза три топнул ногой, как жеребец, – только что не заржал.

Она приподнялась на локте. «Что это – опять бред? Какой гнусный!» Но поскрипывают сапожки, – ближе, ближе бараньи усы. Господин говорит басоватым голосом:

– Я Фиалкин... Ехал по частным делам, но – вот так штука! – сломался тарантас. Нельзя ли, ваше превосходительство, переночевать у вас?..

С ужасом глядела Степанида Ивановна на господина Фиалкина, не понимала – бред это или сам черт за ней явился?

Он сел на постель, расправив фалды, – впереди всего торчали у него черные усы.

– Так как же насчет ночевки? А кроме того, большой я любитель насчет проклятого... Хи-хи... Насчет этого самого. Хо-хо... Сладкого... Ги-го-го...

Он, как дьявол, зашевелил усами, закрутил носом. Генеральша едва слышно проговорила:

– Кто вы такой? О чем вы говорите? Что вы так странно смотрите?

– Лют я до вашего пола. Ни одной не пропущу. Я мастак. Хо-хо!

– Какой вы страшный.

– Это хорошо, что я страшный. Я до баб, как черт, лютый.



- Так я же старая, что вы...
- Это мы посмотрим. А мне по вкусу.
- Уйдите...
- Нет, грешить – так грешить.

Фиалкин ткнул пальцем Степаниду Ивановну под ребро.

Она ахнула и хихикнула. Он ткнул с другой стороны. Тогда она начала смеяться, отмахиваться. Слезы потекли по сморщенному ее личику. Теплая, тягучая паутина поползла по всему телу, затягивала лицо, застилала глаза.

А Фиалкин гудел, ржал, щекотал пальцами. Черные усы шевелились, вставали дыбом. Басок все гудел о каких-то брошках, червонцах... Генеральша ежилась, собиралась в комочек... Не сводила глаз с этого человека. Но он уже расплылся в глазах. Быстро-быстро наматывалась вокруг нее паутина. Это он, огромный червяк, обматывал ее, душил...

– Пустите... Мне душно... – простионала Степанида Ивановна. Фиалкин исчез....

\* \* \*

- Старуха-то помирает.
- Врешь!
- Посинела вся.
- Зачем ты ее сразу-то облапил, надо бы легче.
- Я думал, сразу надо.

Афанасий, стоя за дверью, вытирал потное лицо. Один ус

отстал у него, не приклеивался. Павлина, таращась, шептала:

– А помрет – деньги сейчас же брать надо да вещи с брильянтами. Закопаем их в землю – и знать ничего не знаем...

– А власти наедут?

– Ну что ж! И – отопремся. И посидим – выпустят... Деньги-то большие... Ну, иди опять к ней, наскакивай.

– Ой, не могу, противно. С души воротит.

– Иди, говорю, напугай ее хорошенько. Один конец...

Афанасий зашевелил усами, втянул голову, растопырил пальцы и пошел к постели. Но генеральша уже не видела его. Лежа на бочку, она только часто-часто стонала. Крошечное тело ее потрясали мелкие судороги.

– Кончается? – зашептала Павлина, просовываясь в дверь.

Афанасий и Павлина сели на кровать, глядели на генеральшу, ждали. Павлина вынула из кармана юбки два пятака – прикрыть глаза покойнице. В это время на дворе усадьбы малиново, весело залился колокольчик.

Афанасий сорвал с себя усы и побежал на крыльцо. Павлина грохнулась около генеральшиной постели и заголосила на три голоса сразу. К дому подкатила коляска, в ней сидели Сонечка и Илья Леонтьевич.

Степаниду Ивановну похоронили. В ларчике ее, среди драгоценностей, было найдено завещание Алексея Алексеича. По его воле все движимое и недвижимое имущество Гнилопят, в случае его и генеральшиной смерти, переходило Сонечке Смольковой.

Сонечка сказала, что не хочет жить в Гнилопятах. Она просила все в доме оставить стоять на своих местах, как было при генерале и генеральше, и дом закрыть наглухо. С утра до ночи рабочие стучали молотками, заколачивая досками двери и окна. Гулко раздавались удары по пустым комнатам.

В один из этих печальных часов Сонечка сидела у пруда, по-осеннему синего и прозрачного. Осыпались последние листья. Сонечка думала:

«Промчится жизнь. Приду когда-нибудь осенью и сяду на эту скамью. Пруд будет таким же ясным. Наклонюсь и увижу себя, – седые волосы, потухшие глаза. Будут стучать молотки, заколачивая за мною дверь. Как прожить мимолетную жизнь? Как остановить из этого потока хотя бы одну минутку, – не дать ей утечь?»

Сонечка подумала о недолгой женской жизни, о муже, – вздохнула и покачала головой: муж припомнился ей, словно вычитанный из какой-то пыльной книжки.

Долетел из-за рощи удар колокола, – в монастыре звонили к вечерне. Сонечка обернулась и долго слушала и снова опустила голову.

«Нет, этот зов не для меня. Успокоение? Нет!» Тревожно билось сердце, – молило: «Хоть гибели, хоть горьких слез, но жить! жить! жить! Не бродить в сладком тумане, в очаровании, как прежде, но жить! Гореть, как куст, раскинув огненные руки к этому синему небу, к этой печальной земле... Прими, вот я вся взвилась огнями перед тобой!»